

E 52 801

1/4094



СОВРЕМЕННЫЯ ЗАДАЧИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНІЯ.

Проф. К. Н. Ярошъ.



7050643

ХАРЬКОВЪ.
Типографія Зильберберга, Рыбная ул., д. № 25-й.
1893.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА РСФСР

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ. 14 Апрѣля 1892 года.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
№ 30521 1991 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
СССР
ул. в. в. Ковалева

ПОЛН

Оглавление.

	Стр.
Глава первая. Основная задача	1
Глава вторая. Знаніе добра	11
Глава третья. Желаніе добра	52
Глава четвертая. Воля и характеръ	91
Глава пятая. Воспитательное дѣло въ Россіи	123
Глава шестая. Воспитатель	156



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Основная задача.

Бываютъ физическія болѣзни, которыя бурно врываются въ человѣческой организмъ, производя въ немъ жгучую боль и страшные пароксизмы. Но бываютъ и такія болѣзни, которыя отзываются въ тѣлѣ лишь смутнымъ, щемящимъ чувствомъ неопредѣленной тревоги и ощущеніемъ общаго недомоганія. Несмотря на кажущуюся мягкость свою, эти болѣзни однако-же иногда коренятся въ важныхъ органахъ и могутъ грозить большими бѣдами. Сказанное приложимо и къ общественнымъ организмамъ, гдѣ также случаются такія неопредѣленно-болѣзненные состоянія, гнѣздящаяся въ сердцѣ общегитія — въ семействахъ. Нѣчто подобное, какъ кажется, даетъ себя замѣтить въ текущей современности.

Въ былое время, русскій семейный строй представлялъ собою устойчивый патріархальный укладъ, при которомъ поколѣнія смѣняли другъ друга въ тихомъ и регулярномъ чередованіи, какъ весна слѣдуетъ за зимой, и какъ старая листва деревьевъ уступаетъ мѣсто новой. Жизнь потомковъ шла тогда по колеѣ, проложенной предками, и вносила лишь новую, слѣдующую страницу въ фамиліную хронику, проникнутую однимъ общимъ духомъ. Позднѣе, гладкая поверхность этого теченія замутилась, начались недоразумѣнія между «отцами и дѣтьми», причемъ первые стали испытывать сильную муку опасеній за судьбу послѣднихъ. Опасенія эти, однако-же, являлись чѣмъ-то яснымъ и опредѣленнымъ, ибо почти всѣ цѣликомъ укладывались въ рамки страха предъ такъ называемымъ «нигилизмомъ». Въ наши дни, слава Богу, этотъ предметъ ужаса отодвинулся въ сторону, но интимный

міръ современныхъ домашнихъ очаговъ не приобрѣлъ спокойствія. Направляя сюда внимательный взоръ, мы замѣчаемъ, вмѣсто бодрой увѣренности въ завтрашнемъ днѣ, какую-то жуткую тревогу и опасеніе. Въ чемъ заключается эта тревога? Она не имѣетъ ярко очерченнаго образа, она расплывается въ неопредѣленные контуры рѣющихся въ воздухѣ и пугающихъ призраковъ, она разливается въ общее волненіе родительскаго сердца, которое чувствуетъ несчастье. Что именно пугаетъ отцовъ и матерей—рѣшить не легко. Быть можетъ, они усматриваютъ какія-нибудь опасныя свойства въ своихъ дѣтяхъ? Быть можетъ, имъ чудится бѣда въ какихъ-либо вѣяніяхъ современной атмосферы? Или ихъ приводятъ въ трепетъ нѣкоторыя, не малочисленные факты нашихъ дней, получившіе громкую огласку и занесенные въ скорбные листы судебныхъ протоколовъ?....

Эти факты, дѣйствительно, весьма характерны, и въ нихъ можно, не смотря на индивидуальныя различія, уловить единство основныхъ мотивовъ.

Прежде всего, мы поражаемся здѣсь проявленіями странной нравственной и умственной безпомощности. Передъ нами точно юные отшельники, которые, среди водоворота окружающей жизни, чувствуютъ себя сиротами и бредутъ ощупью, на угадъ, не спрашивая указаній, ни у близкихъ, ни у дальнихъ людей, никому не довѣряя и ни въ комъ не находя опоры. Въ дневникѣ одного шестнадцатилѣтняго гимназиста читаемъ: «Чѣмъ больше живешь, тѣмъ больше узнаешь, чѣмъ больше узнаешь, тѣмъ больше видишь, что нѣтъ никогда, вгдѣ, ни въ чемъ порядка. Много перемѣвъ, много разочарованій, многія дурныя качества появились во мнѣ съ четырнадцати лѣтъ. Я понялъ свою доброту, доведенную до глупости, я сдержу себя: мое сердце, не выдерживавшее прежде малѣйшихъ страданій близкихъ, повидимому, окаменѣло. Когда я стоялъ на краю гибели, я сталъ атеистомъ. Дорого бы я далъ за обращеніе вновь въ христіанство. Много такихъ взглядовъ получилъ я, до которыхъ врагу своему не желаю додуматься; таковъ, напр., взглядъ на отношенія къ родителямъ и женщинамъ». Эти слова—настоящая исповѣдь нрав-

ственнаго Робинзона, который бредетъ среди насъ, съ закрытыми глазами, какъ въ пустынѣ, случайно наталкивается на шероховатости жизни, возводитъ эти ушибы въ своеобразныя понятія и идеи, оступаетъ вопреки желанію въ атеизмъ, становится жертвой какихъ-то взглядовъ, которыхъ не желаетъ и врагу,—и все это совершаетъ въ полномъ духовномъ одиночествѣ, какъ бы внѣ пространства и времени, среди полного отсутствія воздѣйствій какого-либо руководства или авторитета.

Весьма понятно, что мысль, витающая въ этой моральной пустотѣ, бьется какъ въ тенетахъ. Она временами поднимается въ высъ, но безпомощность и лѣнь тянутъ ее книзу, и она точно подстрѣленная птица, падаетъ на землю, въ пыль, въ грязь, во что придется. Въ умственно-нравственномъ чаду перепутываются всѣ основныя понятія: справедливость, правда, добро, зло, честь и благородство. Возникаетъ склонность постоянно кого-то винить, получается чувство разочарованности. «Я не такъ представлялъ себѣ жизнь,—говоритъ одинъ изъ недавно прославившихся печальныхъ героев,—родители меня не понимаютъ, не желаютъ доставить мнѣ счастья». Будучи игралищемъ своихъ неопредѣленныхъ побужденій, человѣкъ привыкаетъ считать виновникомъ всего, что дѣлается имъ-же самимъ, кого-то другаго. «Свѣтло-ли мое будущее?—читаемъ въ упомянутомъ дневникѣ гимназиста.—Недовольный типами человѣчества, я наврядъ-ли найду человѣка, подходящаго подъ мой взглядъ, и придется проводить жизнь solo, а тяжела жизнь въ одиночествѣ». Такое опустошеніе головы и сердца ведетъ неизбежно къ воцаренію эгоизма, къ преклоненію предъ собственнымъ «я». Тотъ-же дневникъ, дѣйствительно, разрѣшается этимъ логическимъ заключеніемъ: «Насколько возможно, стараюсь не имѣть кумира. Но кумиръ нашелея: мой кумиръ—я самъ. Себя я люблю, о себѣ пекусь такъ, какъ дай Богъ всякой матери заниматься своими дѣтьми». Къ несчастью, исключительность эгоизма наноситъ роковымъ образомъ ущербъ интересамъ самой личности, служивая и изсушая ее гораздо болѣе, чѣмъ самый строгій, фанатизированный аскетизмъ. Обращеніе собственной

особы въ единственно чтимый кумиръ сводить принципъ жизни къ убогой формулѣ «жить и пользоваться жизнью», причемъ эта «жизнь» представляется лишь въ видѣ ширшества, въ видѣ неизвѣстно когда и кѣмъ накрытаго стола, гдѣ пѣваются бокалы, сидятъ въ соблазнительныхъ позахъ легкомысленныя женщины, и гдѣ всѣ и все дышетъ однимъ текущимъ моментомъ, безъ памяти о вчерашнемъ днѣ и безъ заботы о томъ, что будетъ завтра. Существованіе, отданное на насыщеніе летучихъ вождельвій, неизбѣжно переходитъ въ работу данаидъ, въ наполненіе бездонныхъ потребностей, остающихся всегда пустыми.

А между тѣмъ, складъ или ходъ явленій общежитія наносятъ игнорирующему его человѣку свои механически безучастные, но чувствительные удары, то недостаткомъ денегъ, то словомъ укора, то взглядомъ презрѣнія. Удивительно-ли, что этотъ ложный путь приводитъ къ мрачному состоянію духа и къ скукѣ, гнетущей и безысходной? Въ дневникѣ героини одного изъ уголовныхъ процессовъ записано: «Какъ я страшно скучаю! Я, право, желала-бы, чтобы теперь было землетрясеніе, лунное затмѣніе, впрочемъ, что-нибудь, что-нибудь, лишь-бы не такъ скучать мнѣ. Какъ этотъ свѣтъ смѣшонъ, безтолковъ, а еще болѣе скученъ, ахъ, смертельно скученъ... а душа моя такъ стремится къ чему-то, къ чему-то, сама не знаю къ чему». Отчего-бы, казалось, не употребить усилій для уясненія этого смутно желаемаго «чего-то»? Отчего-бы не постараться открыть важное въ жизни и не посвятить свое существованіе этому важному? Но «загадочная натура» изнемогаетъ въ тинѣ инертнаго оцѣпенѣнія. Она какъ будто дорожитъ своимъ моральнымъ растрепаннымъ видомъ и любитъ собою, не понимая, что секретъ ея загадочности прекрасно видѣнъ на посторонній взглядъ. «Что кончено, не имѣетъ для меня ни малѣйшей привлекательности, — продолжаетъ стонать современная данаида. Откуда эта страшная пустота? Отчего я чувствую недостатокъ чего-то, чего-то, что я разъяснить себѣ не могу? Отчего, имѣя одно, я такъ желаю другаго? Боже мой, что-же это, чего я именно желаю?... Нужно быть Богомъ или ничтожествомъ, —

это изреченіе глубоко врѣзалось мнѣ въ память». Слова бѣгутъ строка за строкой, но нигдѣ нѣтъ мысли о томъ, что эта исповѣдь есть лишь признаніе въ нравственномъ банкротствѣ, въ убожествѣ идеаловъ и въ дряблости воли. Отчего-бы не придти къ пониманію простой истины, что вмѣсто стремленія «быть Богомъ или животнымъ», человѣкъ долженъ быть «рабомъ Божиимъ» и хорошо исполнить свою житейскую роль? Эта мысль глубже и авторитетъ, ее освящающій, выше; но разсматриваемыя личности слѣпы, невѣжественны и безсильны, относительно прямыхъ, испытанныхъ и освященныхъ путей. Они предпочитаютъ лечиться, чѣмъ ушиблись. Они отдаются вихрю всякихъ увлеченій, берутся за все, но безъ устойчивости, безъ труда и воли. Они находятъ въ себѣ способности ко всему на свѣтѣ, но главное, что дѣйствительно владѣетъ ихъ душою, это способность «насладиться жизнью». И они жадно держатся за кубокъ съ отравой, надѣясь новыми глотками заглушить пустоту и горечь прежнихъ.

Придя къ состоянію, при которомъ «все» опротивѣло и «все» надоѣло, они обращаютъ все серьезное, чѣмъ укрѣпляется и красится хорошая жизнь, въ игру для препровожденія времени, въ актерство, въ ложно-эффектную сценичность. Вопросы глубочайшей важности треплются ими пошло и бездушно. «Мы часто говорили съ нею, — рассказываетъ одинъ изъ этихъ философовъ бокала, — о жизни, о любви, о смерти». Тайна смерти ихъ вообще интересуетъ и какъ-бы манитъ къ себѣ, — хотя какую же тайну представляетъ прекращеніе жизни существъ, снизошедшихъ до степени животнаго?... Ходульное позированіе здѣсь на каждомъ шагу. «Она вообще любила орудія смерти, — описываетъ одинъ судебный протоколъ. — Какъ то разъ она насыпала опія въ стаканъ съ шампанскимъ и сдѣлала видъ, что хочетъ проглотить», и т. д. Имъ кажется, что это «трагедія», хотя какая можетъ быть трагедія въ смерти или взаимномъ истребленіи нравственныхъ ничтожествъ? Если здѣсь, дѣйствительно, есть трагедія, то не они ея герои, а болѣющее общество, въ борьбѣ съ поразившей его моральной проказой. Среди дебоша, описы-

ваемыя «герои» клянутся передъ крестомъ въ вѣчной любви, или вносятъ въ дневники напыщенно-фальшивыя сентиментальности: «Когда я была однажды на кладбищѣ, мнѣ хотѣлось, чтобы всѣ удалились, а я осталась-бы одна, помолится-бы у какой нибудь могилы и.. декламировала-бы»... У этихъ «декламаторовъ» все святое испаряется въ шумихѣ словъ и жестовъ; сознательная ложь и мерзость кощунства присоединяется къ мерзости ихъ поступковъ и обнажаетъ до конца ничтожество ихъ внутренней сущности. Въ фантазмагоріи словъ, чувствъ и дѣйствій, зрителя поражаетъ слабая мотивированность поступковъ: необъяснимые припадки гнѣва здѣсь перемежаются съ внезапными примиреніями, и дерзости выступаютъ въ неопытномъ сочетаніи съ самоуниженіемъ. Люди живутъ, какъ въ угарѣ. Весьма естественно, что въ этомъ чаду критеріи добра и зла ступеваются, исчезаетъ даже простая, джентльменская скромность; порокъ не боится болѣе зрителей, а напротивъ, ищетъ ихъ, выворачиваетъ свою грязную изнанку и щеголяетъ ею. Въ письмѣ къ другу одного изъ описываемыхъ субъектовъ мы читаемъ: «Я все тотъ-же лоботряса, какъ и былъ; если хочешь — хуже, такъ какъ два года самостоятельной жизни наложили свою печать. А потому, братъ, не удивляйся, если въ одинъ прекрасный день ты узнаешь, что я себя тарарахнулъ, такъ, здорово живешь, въ видѣ новости еще не испытанной, а можетъ быть въ видѣ отдыха отъ тяжелыхъ трудовъ ничегонеделанія. Я дошелъ до такого безразличія, что мнѣ все равно, живу днями. Ляжешь дуракомъ, а встанешь еще глупѣе; все равно, ничего не выдумаешь. Добился я репутаціи славной, чуть-ли не первый пьяница, сказавши мимоходомъ, не имѣя никогда въ душѣ любви къ вину. А почему и отчего? Но какъ и все, что я дѣлаю и дѣлалъ и буду дѣлать. Носить меня вѣтеръ изъ стороны въ сторону».

Такъ совершается нравственное разложеніе человѣка. Здѣсь паденіе происходитъ не въ пожарѣ и неудержимомъ самозабвеніи страсти, а какъ то холодно, съ сознаниемъ и памятованіемъ о всякой мелочи. Въ судебныхъ показаніяхъ, лица описываемой категоріи рассказываютъ подробно о мѣстѣ и

времени своихъ похожденій, о томъ, когда именно они подарили «предмету любви» браслетъ или медальонъ «съ изображеніемъ черепа», о томъ, каково было ощущеніе при погруженіи ножа въ тѣло ихъ жертвы, и т. д. Здѣсь человѣкъ утопаетъ въ болотѣ, ясно различая окружающую обстановку, ржавчину тростниковъ, гнилой запахъ воды и скользиція движенія гадовъ. Онъ тонетъ не потому, что его увлекаетъ страсть, а потому, что въ немъ отсутствуютъ побужденія и силы выйти на сухое мѣсто. Заключительнымъ моментомъ всего этого процесса моральнаго тлѣнія является игнорированіе цѣнности жизни, своей и чужой. Очумѣлая путаница оканчивается рѣшеніемъ, что «нѣтъ исхода и нужно застрѣлиться». И пришедшій къ такому рѣшенію приводитъ свою мысль въ исполненіе, безъ особенной борьбы, часто убивъ предварительно кого-нибудь, «выкуривъ послѣднюю папиросу», и написавъ обычную записку. О свойствѣ этихъ записокъ весьма характерно свидѣтельство автора приведеннаго выше дневника: «Странное дѣло, послѣднее мое слово въ жизни — ложь!» Дѣйствительно — ложь, какъ и всякое другое, какъ и все это позорное существованіе.

Само собою разумѣется, что не должно дѣлать изъ скандальнаго излишне широкихъ обобщеній. Приведенные примѣры нравственнаго паденія отнюдь не «знаменія времени», по которымъ можно было-бы составлять заключенія о свойствахъ всей текущей современности. Однако-же, тѣмъ не менѣе, нельзя отрицать и того, что рѣзкія проявленія болѣзни обыкновенно имѣютъ подъ собою соотвѣтственную почву въ организмѣ. Съ этой стороны, громкіе факты, отражающіеся въ зеркалѣ литературы и выступающіе предъ лицо правосудія, свидѣлствуютъ самымъ своимъ появленіемъ о присутствіи въ обществѣ извѣстныхъ какъ-бы предрасположеній. Видя повторяющіяся, аналогичныя проявленія какого-либо зла, можно смѣло утверждать, что одновременно съ этими, ярко выраженными проявленіями, въ обществѣ таится много родственныхъ, менѣе напряженныхъ или, быть можетъ, не нашедшихъ случая выразиться, склонностей къ тому-же злу. Повторяемость однороднаго зла можно сравнить съ учащенны-

ми ударами набата, который будить сонъ и заявляетъ объ опасности.

И дѣйствительно, обращаясь къ личнымъ наблюденіямъ каждаго, вслушиваясь внимательно въ шумъ окружающей жизни, мы не можемъ не замѣчать въ ней отголоска тѣхъ самыхъ прискорбныхъ тоновъ, рѣзкое проявленіе которыхъ мы указали выше. Весьма нерѣдко ощущаемъ мы въ обиходѣ текущей современности дуновенія «вѣтра, который поситъ человѣка изъ стороны въ сторону»; очень часто въ юномъ взорѣ, которому, казалось-бы, такъ свойствененъ энергическій и жизнерадостный порывъ къ возвышеннымъ сферамъ добра и красоты, мы видимъ тяжелый, точно свинцовый туманъ недоумѣнія и апатіи. Какъ часто шаги людей, праздноующихъ свою первую весну, отличаются не бодрою увѣренностью и твердостью, а совсѣмъ противоположными свойствами. Эти люди, только что, выступивъ на дорогу жизни, уже являютъ признаки утомленія. Ихъ взоръ не воспламеняется видомъ предстоящихъ трудностей и не разгорается энергіей къ честному, побѣдоносному шествію въ гору усовершенствованія; напротивъ, ихъ глаза растерянно озираются по сторонамъ и часто, слишкомъ часто и пристально, вперяются въ лежащую у ногъ бездну низменныхъ страстей. Эта бездна какъ-бы очаровываетъ ихъ, и зритель трепещетъ всякую минуту въ опасеніи за каждый слѣдующій шагъ наблюдаемыхъ безпомощныхъ скитальцевъ. Наталкиваясь на фактъ совершенія чего-либо недолжнаго по самымъ ничтожнымъ мотивамъ, мы съ изумленіемъ спрашиваемъ себя: неужели стоило изъ-за этого идти напроломъ, черезъ всѣ барьеры, поставленные нравами, моралью и благоразуміемъ? Оказывается, что самъ дѣятель видѣлъ и видитъ, что не стоить. Но тогда почему же все это случилось? Неизвѣстно. Подошла такая минута, пронеслось дуновеніе, случился внѣшній толчекъ. И никто не можетъ быть увѣренъ, что печальная случайность не повторится снова сегодня или завтра...

Внѣ всякаго сомнѣнія, что главная болѣзнь нашихъ дней заключается въ слабости характеровъ, понимая подъ словомъ «характеръ» — устойчивость въ добрѣ. А потому, надлежащій

закалъ воли, выработка должной мѣры нравственной стойкости, составляетъ первый, основной вопросъ текущей жизни и кардинальную, главнѣйшую задачу современнаго воспитанія. Но человѣческій характеръ есть нѣчто сложное, слѣдовательно и названная задача воспитанія распадается на нѣсколько составныхъ частей, на нѣсколько специальныхъ задачъ, входящихъ въ первую.

Чтобы обладать нравственнымъ характеромъ, человѣку необходимо прежде всего имѣть *знаніе* правыхъ путей, имѣть ясное представленіе объ образѣ долгаго, видѣть свѣтлое сіяніе путеводнаго идеала. Изъ этого идеала проистекаетъ опредѣленное жизневоззрѣніе, дающее намъ возможность сознавать себя не въ смутномъ хаосѣ фактовъ, лицъ и отношеній, а среди стройнаго сочетанія измѣренныхъ правъ и взвѣшенныхъ обязанностей. Изъ руководящаго идеала сами собою выдвигаются критеріи или мѣрила, посредствомъ которыхъ человѣкъ оцѣниваетъ чужіе и собственные поступки, сортируя ихъ на хорошіе и дурные: изъ того-же источника вытекаютъ, такъ называемыя, жизненные правила или принципы поведенія. Такимъ образомъ, идеаль есть нравственный свѣтильникъ, благодаря которому мы получаемъ способность двигаться въ глухомъ мракѣ роковыхъ тайнъ, непроницаемыхъ хитросплетеній и неизвѣстностей міровой жизни. Нигдѣ во вселенной не приготовлено для человѣка указательныхъ вѣхъ и придорожныхъ столбовъ. Природа взираетъ равнодушно на человѣческіе промахи, преступленія и добродѣтели; ни горы, ни море, ни звѣзды, не спѣшатъ на помощь человѣческому недоумѣнію, не подаютъ совѣтовъ, не порицаютъ пороковъ и не рукоплещутъ доблести. И только идеаль рисуетъ передъ нами лучезарный образъ нравственно-прекрасной жизни, внушая тѣмъ самымъ руководящія правила относительно того, какъ должно и не должно поступать.

Но наличности нравственнаго идеала еще мало, чтобы стать дѣйствительно нравственнымъ человѣкомъ. Что пользы въ томъ, — говорилъ Аристотель, — если больной держитъ лекарство въ рукахъ, не обнаруживая желанія принять его? Это *желаніе* слѣдовать велѣнію идеала составляетъ второе важ-

ное, непрѣмное условіе добродѣтели. Только черезъ это желаніе теоретическая формула должна переходить въ рядъ двигательныхъ причинъ человѣческаго поведенія. Согласно устройству нашего психическаго аппарата, идеѣ, чтобы войти въ міръ нашихъ поступковъ, необходимо нужно заинтересовать въ свою пользу наши чувства, заставить ихъ полюбить себя, увлечь ихъ на служеніе себѣ. Положеніе идеи среди чувствъ можетъ быть такъ-же различно, какъ и положеніе оратора среди толпы на площади. Тщетно будетъ мысль оратора возноситься въ высь и касаться облаковъ, если слушатели останутся враждебными или только равнодушными, если слову оратора не удастся привести въ движеніе мускулы толпы, возбудивъ въ послѣдней желаніе слѣдовать призыву. Таково-же безсиліе и идеала въ человѣческой душѣ, когда чувства отвѣчаютъ протестомъ или молчаніемъ на его внушенія: «ce sont les sentiments seuls qui mènent l'homme», говоритъ Рибо.

Однако-же, недостаточно и этого втораго условія добродѣтельности: необходимо третье. Мало еще перевести идею въ желаніе и ввести ее въ область чувствъ. Здѣсь желаніе, состоящее на службѣ данной идеи, попадаетъ въ бурливую среду другихъ желаній, которыя борются въ нашей душѣ и стремятся на перерывъ другъ передъ другомъ протиснуться въ сферу нашихъ поступковъ. Осуществленіе каждаго желанія зависитъ вполне отъ прихотливыхъ случайностей результата этой борьбы. Быть можетъ, благой идеѣ удастся выразиться въ такомъ или иномъ дѣйствіи, но этотъ фактъ, въ виду его изолированности и случайности, еще не имѣетъ важнаго значенія и не служитъ ручательствомъ въ прочности желательнаго направленія дальнѣйшаго поведенія: «одна ласточка,—замѣтилъ поэтому поводу Аристотель,—еще не дѣлаетъ весны». Слѣдовательно, для надежнаго, не зависящаго отъ случая, осуществленія идеала, необходимо нужно, чтобы соотвѣтственныя ему чувства образовали изъ себя тѣсный союзъ, который-бы помогалъ имъ въ битвѣ съ другими желаніями, придавалъ душѣ извѣстный основной тонъ и сообщалъ человѣку внутреннее единство личности опредѣленнаго

моральнаго образа. Пусть этотъ союзъ родственныхъ, просвѣщенныхъ идеаломъ желаній выступаетъ всякій разъ, когда человѣку предстоитъ выборъ между различными, спорящими побужденіями, и пусть союзъ этотъ служитъ точкой опоры рѣшителю выбора—человѣческой волѣ. Пусть этотъ рѣшитель тяжбы побуждевій, воля, прибрѣтетъ выдержку и твердость, дающія человѣку возможность, распорядиться желаніями, владѣть собою, освободиться отъ порабощенія страстями и стать выше царства капризовъ. Пусть нашъ физическій организмъ выработаетъ въ себѣ силу, стоящую въ полной готовности энергически исполнить приказъ, который исходитъ отъ идеи, переданъ чувствомъ и разрѣшонъ волею. Только при наличности всѣхъ этихъ условій, можно сказать съ увѣренностью, что мы имѣемъ должный нравственный характеръ, надежную степень устойчивости въ добрѣ.

Изъ сказаннаго выясняются главнѣйшія составныя части воспитанія, имѣющаго цѣлью выступить противъ причинъ и роста современнаго безволія.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Знаніе добра.

I.

Нравственное воспитаніе должно сообщить своимъ питомцамъ жизненный идеалъ. Но такимъ или инымъ идеаломъ и безъ того обладаютъ всѣ люди, къ какой-бы категоріи состоянія, званія, пола, возраста и развитія они ни принадлежали. И малый ребенокъ, и необразованный ремесленникъ, имѣетъ передъ собою извѣстный образъ желательнаго, привлекательнаго и хорошаго. Жизневозрѣніе, на которомъ выросла апатія Обломова, есть также жизневозрѣніе. Даже «отрицаніе идеаловъ» Базарова, въ сущности, есть своего

рода идеаль, какъ и отрицаніе всякихъ нравственныхъ принциповъ, возведенное въ жизненное правило, составляетъ въ свою очередь принципъ. Слѣдовательно, недостаточно сказать, что воспитаніе имѣетъ задачей сообщеніе идеала; нужно прибавить—нравственного, добраго идеала. Но въ чемъ-же заключается нравственно-добрый идеаль? Этимъ первымъ, основнымъ вопросомъ мы сразу врѣзываемся въ самый центръ «смѣшенія языковъ» значительной части современной педагогій. На насъ со всѣхъ сторонъ устремляются мутныя волны сознательно-ложныхъ рѣшеній и откровенно-безпомощныхъ недоумѣній, легкаго отношенія къ дѣлу и честнаго безсилія. Вооружившись должной мѣрой осторожности, мы пропустимъ передъ собою главнѣйшіе продукты педагогической мысли по данному вопросу.

Съ дружнымъ единодушіемъ педагоги нашихъ дней утверждаютъ, что воспитаніе должно дѣлать своихъ питомцевъ «людьми» и служить разсадникомъ существъ, которые были бы достойны носить имя «человѣка». Это опредѣленіе ясно лишь своею отрицательною стороною; оно ясно и справедливо, пока говоритъ, что смыслъ воспитанія не слѣдуетъ сводить къ искусству фабрикованія чиновниковъ, купцовъ, ремесленниковъ и пр. Нельзя, дѣйствительно, не видѣть комической узкости взгляда, изображеннаго, напр., у Додэ («Евангелистка»), въ образѣ отца, который увѣровалъ почему-то въ призваніе своего сына къ мореплаванію и занялся специальнымъ приготовленіемъ ребенка къ этой профессіи. «Ну, что, молодецъ,—постоянно обращался онъ къ предполагаемому моряку,—ты все мечтаешь о морѣ? Тебѣ все снятся корабли». Между тѣмъ, какъ мальчикъ питалъ боязливое отвращеніе къ морю и въ смущеніи теребилъ свою матроскую куртку, которая давила его, какъ тяжелый кошмаръ. Конечно, всѣ подобныя стремленія выкроивать съ колыбели специалиста слѣдуетъ оставить, и педагоги правы, возмущаясь противъ нихъ. Но когда намъ говорятъ, что въ ребенкѣ и юношѣ долженъ быть воспитанъ «человѣкъ», мы остаиваемся въ недоумѣніи. Что именно представляетъ собою этотъ желательный человѣкъ? Гдѣ искать его? По какимъ признакамъ

отличать его отъ другихъ людей? Всмотриваясь пытливымъ взоромъ въ окружающую жизнь, мы тщетно ищемъ образцоваго человѣка. Точно такъ-же, обращаясь къ прошедшему, вызывая въ памяти прославленныя историческія личности, мы снова видимъ лишь односторонности, ибо каждый изъ героевъ исторіи былъ великъ на свой ладъ и въ какомъ-либо одномъ отношеніи: «jeder war nur gross in seiner art, keiner so gross wie alle zusammen», по выраженію Апенента («Gedanken über Erziehung», 1874 г.). Не означаетъ-ли это, что «образцовый человѣкъ» есть только *нравственное понятіе* или *идеальное представленіе*?

Нѣкоторые писатели, опасаясь предполагаемой шаткости такого рѣшенія вопроса, говорятъ, что «образцовый человѣкъ» есть какъ-бы сборное понятіе, состоящее изъ *соединенія «общечеловѣческихъ» свойствъ и идеаловъ*. Такимъ образомъ, хотя «нормальный человѣкъ» и объявляется идеаломъ, но *объективнымъ*, т. е. существующимъ реально въ «общечеловѣческихъ» идеяхъ и чертахъ. Этимъ оборотомъ рѣчи вопросъ какъ будто исторгается изъ сферы субъективныхъ мнѣній и вкусовъ, и переносится въ независимый міръ фактовъ, доступныхъ наблюденію, изученію и научному объясненію. Однако-же, едва выступивъ на путь наблюденія, и отыскиванія этихъ общечеловѣческихъ идеаловъ, мы убѣждаемся тотчасъ-же въ неисполнимости нашего предпріятія. И въ самомъ дѣлѣ, гдѣ будемъ мы брать «общечеловѣчскій» матеріалъ для построенія изъ него идеала, по которому педагогія должна воспитывать своихъ питомцевъ? Годятся-ли для нашей цѣли свойства африканцевъ, среди которыхъ путешествовалъ Стэнли? Нужно-ли считать, входящими въ составъ общечеловѣческихъ, идеи обитателей острова Ввити, которые полагаютъ обязательнымъ отцеубійство?...

Идя путемъ такихъ наблюденій общечеловѣческой дѣйствительности, неизбежно приходится слезить основную формулу и, вмѣсто общечеловѣческихъ свойствъ, идей и идеаловъ, говорить лишь объ общеевропейскихъ. Но и тутъ наше наблюденіе встрѣчаетъ непреодолимыя трудности. Мы не знаемъ, какъ быть съ особенностями мѣста и времени, національ-

ностей, сословій и т. д. Должны-ли мы включать въ свой идеаль нѣмецкій педантизмъ или англійскую ультрапрактичность? Слѣдуетъ-ли намъ, строя образецъ воспитанія, принимать въ соображеніе описанную у гр. Л. Толстого мораль кружка Вронскаго, гдѣ есть свой кодексъ правилъ, по которымъ «нужно заплатить шуллеру, а не нужно портному, обманывать нельзя никого, а мужа можно прощать оскорбленій нельзя, а можно оскорблять»? Или, что дѣлать съ изображеннымъ у того же писателя идеаломъ барышника, который говорилъ о сынѣ: «мнѣ нужно прежде всего написать его своимъ духомъ», и хвастался тѣмъ, что двѣнадцати-лѣтній мальчикъ уже умѣетъ обманывать мужиковъ, ссыпавшихъ отцу пшеницу?...

Далѣе, непреодолимую трудность для наблюденія и констатированія существующихъ будто-бы объективныхъ идеаловъ, составляетъ измѣнчивость руководящихъ жизненныхъ взглядовъ. Г. Спасовичъ, напр., въ статьѣ о новыхъ направленіяхъ въ наукѣ уголовного права (Вѣстн. Евр. 1891 г., 10), пишетъ: «25 лѣтъ тому назадъ, я бы не повѣрилъ, что раздадутся на западѣ и найдутъ послѣдователей сужденія, совсѣмъ противоположныя тому, что было принято считать непререкаемыми аксіомами и прямыми выраженіями челоѳчности. Я бы не повѣрилъ, что станутъ проповѣдывать: не надо толковать всякое сомнѣніе на судѣ въ пользу подсудимаго, слишкомъ жалѣли злодѣя — пора пожалѣть общество и т. д.». Наконецъ, даже то общее и устойчивое, что можно наблюсти въ идеяхъ и свойствахъ челоѳчества, даже оно не можетъ считаться какимъ-либо вѣчнымъ, объективнымъ, непререкаемымъ элементомъ морали. Такъ, напр., едва-ли есть въ челоѳчествѣ свойство, болѣе распространенное и близкое сердцу людей, чѣмъ любовь къ азартной игрѣ. Первобытное челоѳчество (если судить о немъ по нынѣшнимъ племенамъ дикарей) любило игорный азартъ, классическіе греки были большіе игроки, римскіе императоры играли даже во время путешествій, въ экипажѣ; гунны проигрывали своихъ женъ, а германцы ставили на ставку собственную жизнь. Современная Европа отчаянно играетъ на биржѣ, въ безчисленныхъ клу-

бахъ, у домашнихъ очаговъ, а иногда и подъ мостами, гдѣ находятъ себѣ пріютъ игроки, не имѣющіе мѣстожителства. Однако-же, изъ этого «общечелоѳческаго» явленія не вытекаетъ, конечно, нравственной заповѣди, которая-бы гласила: «люби азартную игру и предавайся ей всѣмъ сердцемъ».

Рядъ такихъ безуспѣшныхъ поисковъ убѣждаетъ, что за мѣна въ этикѣ понятія о челоѳкѣ-вообще понятіемъ объ общечелоѳкѣ, и ссылки на какіе-то общечелоѳческіе идеалы суть только пустыя слова, обманчивыя и вредныя фразы, которыя вносятъ путаницу въ мысли, все покрываютъ собою и снабжаютъ мнимымъ авторитетомъ различныя произвольныя утвержденія. Слова: „нравственный общечелоѳкъ“ и „общечелоѳческій идеаль“, какъ мнимо-описательные термины, относящіеся къ чему-то такому, чего на самомъ дѣлѣ нѣтъ, должны быть изгнаны изъ лексикона языковъ. Ссылки на общечелоѳческіе идеалы, когда онѣ не составляютъ продукта простаго недомыслія, служатъ обыкновенно удобной маской шарлатанамъ, которые морочатъ наивныхъ людей, выдвигаютъ на поклоненіе толпѣ, слѣпленныхъ собственными руками идоловъ, и, изъ-за спины этихъ истукановъ, стремятся угнетать общественную мысль личными симпатіями и вкусами, выдаваемыми обманно за «общечелоѳческіе» принципы. Эти лживые пророки, говоря о пріятныхъ или выгодныхъ имъ явленіяхъ нравственнаго міра, восклицаютъ: «къ чему здѣсь лишніе разговоры? Это общечелоѳческія свойства! Это прямые постулаты объективныхъ общечелоѳческихъ идеаловъ!» И слушатели, не вдаваясь въ провѣрку этихъ указаній, часто «убѣждаются» одною дерзостью и самоувѣренностью шарлатанскихъ утвержденій.

Отмѣченная ложная точка зрѣнія извратила не мало серьезныхъ принциповъ и внесла въ общежитіе не мало зла. Остановимся на одномъ изъ этихъ извращеній, — на порчѣ идеи гуманности. Гуманность есть уваженіе челоѳческой личности вообще, независимо отъ всякихъ внѣшнихъ оболочекъ состоянія, званія и пр. Чѣмъ обуславливается это уваженіе? Что именно уважается въ челоѳкѣ—вообще, независимо отъ его знатности, богатства, пола, красоты и т. д.?

Обращаясь къ исторіи, видимъ слѣдующее. Классическіе греки, вслѣдствіе своей «эллинской гордости», питали взаимное уваженіе другъ къ другу, при полномъ презрѣніи къ «варварамъ», потому-что считали себя существами совершенными, племена-же не греческія приравнивали къ животнымъ. Философія стоическая учила объ уваженіи къ личности всякаго человѣка, гдѣ бы онъ ни обиталъ, потому что считала всѣхъ людей носителями божественнаго разума, проникающаго собою все человѣчество. Христіанинъ уважаетъ человѣка, какъ брата во Христѣ, какъ сына общаго небеснаго Отца, какъ носителя «богоподобія». Изъ всѣхъ подобныхъ примѣровъ слѣдуетъ, что въ положеніи: «уваженіе человѣческой личности», слово: «человѣкъ-вообще» означаетъ нравственное понятіе, а не какой-либо зоологическій терминъ, и уваженіе связывается съ извѣстной нравственной величиной, а не бросается въ объективный міръ физическихъ, біологическихъ и иныхъ подобныхъ фактовъ. Гуманность въ этомъ смыслѣ не впадаетъ въ нравственный индифферентизмъ и сентиментальную, развращающую слѣпоту относительно личныхъ свойствъ и качествъ людей. Христіанское ученіе, безъ сомнѣнія, преисполнено гуманности, но оно далеко отъ проповѣди какихъ-либо «объективныхъ» достоинствъ безъ нравственныхъ заслугъ. «Я писалъ вамъ, — читаемъ въ посл. ап. Павла (Кор. 5, 11), — не сообщаться съ тѣмъ, кто, называясь братомъ, остается блудникомъ, или лихоимцемъ, или идолослужителемъ, или злорѣчивымъ, или пьяницей, или хищникомъ». Значитъ, чтобы быть «братомъ», т. е. человѣкомъ-вообще, заслуживающимъ уваженіе, недостаточно назваться братомъ, а нужно обладать наличностью опредѣленныхъ нравственныхъ свойствъ. Важное преимущество этого истиннаго понятія гуманности заключается въ томъ, что она не даетъ удобствъ къ эксплуатированію «званія человѣка». Всякій изъ людей, зная, что онъ уважаемъ, какъ носитель «богоподобія», чувствуетъ себя обязаннымъ оправдать и заслужить это уваженіе употребленіемъ всѣхъ усилій къ сохраненію или пріобрѣтенію свойствъ «богоподобія». Быть можетъ, намъ возражать, что такая гуманность грозитъ безпощадною жесто-

костью къ людямъ, потерявшимъ нравственное достоинство и лишеннымъ моральныхъ заслугъ. Но это не вѣрно. Всякій, кто уважаетъ идеалъ нравственнаго человѣка, стремится прежде всего водворить его въ собственной душѣ, со всѣми элементами этого идеала, къ которымъ принадлежитъ широкое чувство любви, состраданія и жалости, обращенное ко всему міру, не только ко всѣмъ людямъ, но и ко всему живому на землѣ. Поэтому, среди гуманныхъ людей и гуманнаго общества, самый потерянный человѣкъ и закоренѣлый преступникъ можетъ рассчитывать на состраданіе и невозможно большую мѣру мягкости, хотя и состраданіе и мягкость получить онъ не по какому либо мнимому, объективному или естественному «праву», а какъ естественный результатъ окружающей его альтруистически-гуманной атмосферы. Быть можетъ, скажутъ еще, что значеніе гуманности въ объясненномъ смыслѣ подрывается неопредѣленностью и произвольностью нравственной оцѣнки достоинства человѣка. Но этотъ ультра-скептический взглядъ на мораль не вѣренъ. Нѣтъ, конечно, объективныхъ, природою данныхъ нравственныхъ мѣрилъ и идеаловъ, но есть во всякое время извѣстные идеалы и критеріи, принадлежащіе людямъ, какъ членамъ національнаго союза, какъ лицамъ одного культурнаго уровня. Наконецъ, въ этотъ міръ текущей субъективности вносится прочная устойчивость религіей.

Обращаясь къ гуманности, какъ она весьма часто, но превратно понимается, т. е. къ уваженію не человѣка-вообще, а общечеловѣка, мы легко можемъ замѣтить, что эта фальсифицированная гуманность входитъ разлагающимъ элементомъ въ нравственный міръ общечеловѣка, ибо путаетъ моральную оцѣнку лицъ и поступковъ, ступшевываетъ границы между хорошимъ и дурнымъ, заглушаетъ понятія о нравственномъ долгѣ и отвѣтственности. Ложная и вредная мысль о существованіи достоинствъ, не оправдываемыхъ заслугами и не сопровождающихся отвѣтственностью, составляетъ такую-же развращающую среду, какъ и всякое одареніе человѣка правами и привилегіями, безъ соответствующихъ имъ обязанностей. Если я имѣю право на всеобщее уваженіе просто

потому, что имѣлъ счастье родиться человѣкомъ, а не какимъ-либо непривилегированнымъ существомъ, то я могу пользоваться выгодною случайностью своего «благородства», своимъ прирожденнымъ достоинствомъ, какъ мнѣ угодно и какъ укажутъ мои вождельніа. Не нужно особенной зоркости, чтобы видѣть огромный вредъ, причиненный современному обществу этою фальшивою гуманностью. Она вливаетъ ядовитую струю человѣческой безотвѣтственности въ обиходъ жизни нашихъ дней и плодитъ въ ней плачевную слабость характеровъ. Она проступаетъ въ современныхъ философскихъ и историческихъ трактатахъ, гдѣ обнаруживаетъ стремленіе какъ-бы прировнять движенія людей къ правильнымъ эволюціямъ астрономическаго міра и подорвать значеніе личности, индивида. Она отражается въ нашихъ романахъ прославленіемъ «симпатичныхъ жертвъ среды и благородныхъ адюльтеровъ». Она живописуетъ «роковую» мощь страстей на сценахъ нашихъ театровъ. Въ экономической жизни, она побуждаетъ человѣка стараться перенести свою отвѣтственность на общество и замѣнить большую часть личныхъ усилийъ различными комбинаціями, которыя-бы обезпечили ему готовое благополучіе. Таже извращенная гуманность отравляетъ атмосферу нашего правосудія, спутывая въ адвокатскихъ рѣчахъ понятія о порокахъ и добродѣтели, ослабляя ужасъ предъ преступными дѣяніями, заражая общество поклоненіемъ инстинкту и презрительнымъ игнорированіемъ благороднаго назначенія человѣческой воли *).

*) Ср. соч. Бодрильяра, *La famille et l'éducation*, 1874.—Въ одной изъ нашихъ статей, намъ случилось упомянуть о злоупотребленіи дурныхъ людей ложно понятымъ принципомъ «уваженія человѣческой личности». На наше замѣчаніе послѣдовало возраженіе хроникки Вѣсти. Европы. Къ сожалѣнію, это возраженіе выразилось лишь въ общезвѣстныхъ положеніяхъ, посланныхъ на себѣ печать общихъ мѣстъ. Несравненно было бы лучше, вмѣсто азбучныхъ разсужденій, глубже вникнуть въ дѣло и подумать надъ соображеніями, которыя можно почерпнуть въ ученой литературѣ того самаго Запада, поклоненіе которому часто бываетъ настолько-же фанатично, насколько и платонично. Нужно было-бы прочитать со вниманіемъ хотя-бы слѣд. мѣсто изъ названной выше книги французскаго писателя: «Il ya une double erreur philosophique, à laquelle notre temps n'est pas étranger: c'est d'une part, l'idée de la bonté presque absolue de l'homme,

Возвращаемся къ исканію нравственнаго идеала, который воспитаніе должно сообщить своимъ питомцамъ.

Многіе изъ современныхъ ученыхъ и педагоговъ полагаютъ, что человѣкъ есть существо, находящееся еще въ пути своего развитія, и что намъ нельзя остановить свой взоръ на какой-нибудь изъ станцій этого пути, какъ на конечномъ или высшемъ пунктѣ развитія, ибо мы не знаемъ, что будетъ впереди и какія новыя черты получить со временемъ моральная фізіономія людей. Развѣ не наталкиваемся мы на разнообразіе временъ и народовъ, на противорѣчія философскихъ школъ и системъ, когда задаемся цѣлью найти образецъ нравственности въ томъ, что человѣчество, по дорогѣ своего историческаго прогресса, считало высочайшимъ проявленіемъ человѣческой природы? Одинъ изъ сторонниковъ этого взгляда, Эскиросъ («Эмиль XIX вѣка»), замѣчаетъ: Большинство моралистовъ подводило воспитаніе подъ идею, которую они составили себѣ о человѣкѣ. Но совер-

accidentellement corrompu par des circonstances qu'on peut supprimer; c'est, de l'autre, la promesse de la félicité de l'âge d'ore ou du paradis sur la terre, objet et récompense des progrès de la science, de l'industrie et d'une politique reposant tout entière sur l'idée de l'humanité. Nous avons de beaucoup exagéré la part de vérité contenue dans ces théories. La Commune a été un défi brutal, un dèmenti sanglant infligé à ces utopies qu'elle invoquait: avertissement humiliant, que l'homme n'est jamais si près de devenir méchant qu'au moment où sa bonté absolue est posé en dogme, barbare que quand la civilisation est supposée toucher à son apogée».

Приведенный образчикъ современной русской критики, между тысячу подобными, наводитъ на грустную мысль о злѣ, прорастающемъ изъ искусственной розни нашей печати. Подѣлявшись на «лагери» и проникшись соответственнымъ воинственнымъ духомъ, она не работаетъ дружно, подхватывая нить, обретенную однимъ изслѣдователемъ, поправляетъ ошибку другаго и т. д., а производитъ военныя эволюціи, выслѣживаетъ «врага», даетъ сраженія, врывается въ «непріятельскіе лагеря». Среди погони за лаврами въ этихъ походахъ, интересы истины и блага остаются на заднемъ планѣ. Люди, группирующіеся подъ «знаменемъ» либерализма (все военная терминологія!), встрѣчаютъ съ оружіемъ въ рукахъ каждое слово, идущее отуда, гдѣ видится имъ «знамя реакціи», и обратно. На дѣлѣ-же, говоря по совѣсти, едва-ли есть между русскими писателями такіе «реакціонеры», которые дѣйствительно желали-бы для своего отечества какихъ-нибудь понятныхъ движеній къ худшему, ко временамъ невѣжества, грубости, насилія, подавленія одного элемента населенія другимъ и т. н. *.

шенный человекъ существуетъ только въ воображеніи, а не въ дѣйствительности; поэтому всякій о немъ мечтаетъ по своему. Приступъ моралистовъ въ разрѣшеніи задачи былъ бы прекрасенъ, если-бы человекъ былъ абсолютной, неизмѣняющеюся цѣлостью. Но на самомъ дѣлѣ, человекъ есть существо измѣнчивое, переходящее черезъ рядъ послѣдовательныхъ превращеній, изъ которыхъ каждое носитъ въ себѣ зародышъ слѣдующихъ за нимъ перемѣнъ. Гдѣ-же остановиться въ такомъ вѣчномъ движеніи?... Отказываясь по этимъ соображеніямъ отъ поисковъ за конечною формулой должнаго, упомянутые мыслители совѣтуютъ направить всѣ усилія умственной пытливости на постиженіе *законовъ* физическихъ, биологическихъ, психологическихъ и социологическихъ, *которыми управляется процессъ развитія или эволюція человеческой морали*. Воспитаніе съ этой точки зрѣнія стано-

допустить существованіе подобныхъ личностей, то онѣ во всякомъ случаѣ составляютъ совершенно ничтожное явленіе, лишенное всякой почвы, какъ въ задачахъ русскаго правительства, такъ и въ этическихъ тенденціяхъ русскаго народа. Поэтому, тратить время на борьбу съ ними и приносить въ жертву этой борьбѣ высокія задачи литературы, — едва-ли достойное дѣло. Конечно, каждый писатель можетъ впасть въ заблужденіе, но въ этомъ случаѣ нужно помочь ему, распутать совокупными силами постигнувъ его ошибку, а не бросаться на него съ слѣпою злобою. Ошибка не есть преступленіе. Едва-ли не единственные истинные враги русскаго просвѣщенія, — это тѣ лживыя личности, которымъ печальное равнодушіе ко всему святому позволяетъ обращать слова и мысли, идеи и принципы, на служеніе эгоистическимъ интересамъ, своекорыстному тщеславію и самолюбію. Если бы русская литература (въ обширномъ смыслѣ этого слова) сбросила съ себя единодушными усиліями этотъ позорный налетъ и отрѣшилась отъ вредной воинственности своихъ междуусобій, то она несомнѣнно обнаружила-бы силу, о которой до тѣхъ поръ она не можетъ и помыслить. Будемъ желать всѣмъ сердцемъ возможно большаго распространенія убѣжденій, высказанныхъ мною лѣтъ тому назадъ благороднымъ авторомъ известной книги «Мои темницы»: «Не мало людей рассуждаетъ съ ложной и ужасной логикой: я слѣдую знамени, которое по моему мнѣнію справедливо, другой слѣдуетъ знамени, по моему убѣжденію, несправедливому; слѣдовательно онъ дурной человекъ. Нѣтъ, безумные логики! Какого-бы вы ни были знамени, не рассуждайте такъ безчеловѣчно. Подумайте, что путемъ такихъ умозаключеній легко придти къ выводу, что за исключеніемъ насъ нѣсколькихъ всѣ люди заслуживаютъ быть за живо сожженными. А при болѣе тонкомъ изслѣдованіи, каждый изъ этихъ нѣсколькихъ скажетъ: «всѣ люди заслуживаютъ быть за живо сожженными, кромѣ меня».

вится только воздѣйствіемъ на питомцевъ, съ цѣлью извлечь наружу всѣ силы, таящіяся въ немъ въ неразвитомъ и безсознательномъ состояніи. Воспитаніе здѣсь не втискиваетъ ребенка или юношу въ готовую форму, а только помогаетъ его моральному существу развернуться во всю ширь и мощь.

Не смотря на кажущуюся справедливость, эта теорія заключаетъ въ себѣ много ошибочнаго. Она права въ своемъ отрицаніи всякихъ «объективныхъ, общечеловѣческихъ» идеаловъ, но она заблуждается во всемъ остальномъ. И въ самомъ дѣлѣ. Самое всестороннее изученіе развитія человѣческаго поведенія, со всѣми относящимися сюда фізіологическими, биологическими, психологическими и социологическими законами, можетъ дать намъ только пониманіе условій усовершенствованія или упадка тѣхъ или другихъ отраслей упомянутаго поведенія. Если бы такое изученіе достигло существенныхъ результатовъ (чего, однако-же, даже наиболѣе убѣжденные оптимисты ожидаютъ только въ далекомъ будущемъ), то дѣло воспитанія получило бы здѣсь драгоценный источникъ свѣдѣній, относительно средствъ для культивированія тѣхъ или другихъ человѣческихъ свойствъ и для вызванія или сдерживанія роста такихъ или иныхъ тенденцій человѣческой природы. Но всѣ эти свѣдѣнія о воспитательныхъ средствахъ не дадутъ намъ ни малѣйшаго понятія о воспитательныхъ цѣляхъ, не дадутъ намъ никакихъ указаній, касательно нравственной оцѣнки различнаго рода человѣческихъ свойствъ и фактовъ поведенія. Эволюціонныя теоріи, изслѣдованія и наблюденія никогда не отвѣчаютъ на вопросы о томъ, что должно быть, что хорошо, что дурно, и т. д. Для отвѣта на эти вопросы всегда необходимо выходить изъ роли наблюдателя эволюціонныхъ процессовъ и становиться надъ ними въ положеніе судьи, мѣряя факты имѣющимъ у насъ нравственнымъ идеаломъ и образцомъ должнаго. Воспитаніе, которое бы всецѣло примкнуло къ теоріи эволюціонной морали, приготовило бы себѣ печальную долю: оно поставило бы себя при дѣлѣ духовнаго развитія человека въ положеніе слѣпаго пособника, помогающаго родиться всему тому, что родится. Воспитатель, такимъ образомъ, былъ-бы

ничѣмъ инымъ, какъ слугою и пособникомъ случая и долженъ былъ-бы съ одинаковымъ рвеніемъ ассистировать при возрастаніи какъ тонкаго плута, такъ и благороднаго героя, лишь бы это возрастаніе шло по всѣмъ правиламъ, извлеченнымъ изъ научныхъ наблюдений надъ способомъ, какимъ развивались въ человѣчествѣ тѣ или другія его свойства.

Если сторонники разсматриваемой теоріи воспитанія не видятъ этой грустной перспективы, то лишь потому, что они обманываютъ себя двусмысленными фразами и фальшивыми предположеніями. Такъ на примѣръ, если Ж. Ж. Руссо не замѣчалъ гибельныхъ результатовъ своей самоупражняющейся педагогіи, то только потому, что вѣрилъ глубоко (хотя неизвѣстно, на какомъ основаніи) въ природную доброту людей. Конечно, если «l'homme est bon sortant des mains de la nature», то воспитатель долженъ лишь стараться не замутиль эту природную доброту и не помѣшать ей естественной эволюціи. На подобномъ-же произвольномъ предположеніи опиралась и педагогія Фурье, устранявшаго всякое принужденіе и всякое руководство. Тоже можно сказать и о взглядѣ нашего недавно умершаго писателя Шелгунова. «У васъ нѣтъ силъ создавать людей, — говорилъ онъ въ своихъ письмахъ о воспитаніи, — а потому предоставьте имъ создаваться самимъ. Если мы разовьемъ въ своихъ дѣтяхъ всѣ средства для вѣрнаго наблюденія, вѣрной оцѣнки и вѣрнаго вывода, мы пустимъ ихъ въ жизнь во всеоружіи средствъ для борьбы со всякимъ зломъ». Очевидно, кажущаяся основательность этой фразы опирается только на отождествленіе (въ сущности — не вѣрномъ) человѣческой способности дѣлать «вѣрныя наблюденія, оцѣнки и выводы» съ нравственной чистотой человѣческаго характера. Стѣдуетъ объяснить себѣ, что и ловкій злодѣй не только можетъ, но и долженъ умѣть дѣлать вѣрныя наблюденія и выводы, какъ сейчасъ-же становится ясно, что тезисъ Шелгунова обращаетъ воспитаніе въ простое игральное случая.

Вообще, довольно оригинальное зрѣлище представляютъ собою эти попытки обойтись безъ моральныхъ идеаловъ въ дѣлѣ нравственнаго воспитанія. Сторонники такой педагогіи,

указываютъ на самостоятельную поучительность для воспитанниковъ наблюденія дѣйствительности, не замѣчая, что эта дѣйствительность получаетъ въ глазахъ педагоговъ назидательный смыслъ лишь потому, что они сами предварительно вносятъ въ нее моральное освѣщеніе. Подобное невѣдѣніе одной руки, что дѣлаетъ другая, очень похвально въ области благотворенія, но очень дурно въ сферѣ мышленія. Возьмемъ примѣръ изъ соч. Эскироса. «Видѣ тяжелыхъ, полевыхъ крестьянскихъ работъ, — говоритъ онъ, — научаетъ уважать собственность», т. е. внушаетъ уваженіе къ принципу, по которому плоды труда должны принадлежать тому, кто работалъ. Но всякому не предубѣжденному ясно, что это «наученіе» есть нравственное сужденіе, а не логическій или математическій выводъ изъ фактовъ, изъ которыхъ слагается картина сельской страды. Упомянутое нравственное сужденіе извнѣ приводитъ къ фактамъ, а не вытекаетъ изъ нихъ само собою, какъ вытекаетъ равенство угловъ треугольника двумя прямымъ изъ свойствъ треугольника. Сколько разъ, изъ того-же самаго зрѣлища крестьянскихъ работъ дѣлались совсѣмъ другіе выводы, потому-что зритель смотрѣлъ черезъ другую призму нравственныхъ убѣжденій. Дѣйствительность сама по себѣ даетъ каждому изъ насъ лишь то, что мы въ состояніи получить. Ея факты свѣтятъ намъ тѣмъ свѣтомъ, который падаетъ на нихъ отъ нашихъ-же идеаловъ. Это справедливо въ равной мѣрѣ, какъ въ нравственномъ мірѣ, такъ и въ эстетическомъ. Природа, для одного человѣка, — царство чудныхъ образовъ, для другаго — груда безсмысленныхъ обломковъ. Не признавался-ли одинъ изъ нашихъ «эстетиковъ», что въ журчаніи ручья онъ слышитъ «тоску частнаго бытія, отдѣленнаго отъ абсолютнаго всеединства» или что въ лѣтней грозѣ и въ бурномъ морѣ онъ чувствуетъ «шевелиющійся хаосъ» (см. курьезную ст. г. Вл. Соловьева: «Красота въ природѣ», въ журн. «Вопросы философіи и психологіи»)?

Возьмемъ еще примѣръ изъ того же соч. Эскироса. Эмиль, — рассказываетъ Эскиросъ о своемъ воспитанникѣ, — часто наблюдалъ, какъ зимородокъ сидитъ по цѣлымъ часамъ на

сторожѣ, слѣдя зоркимъ взоромъ, не проплыветъ-ли въ водѣ рыба; замѣтивъ добычу, зимородокъ бросается однимъ прыжкомъ и вытаскиваетъ ее клювомъ. Разорвавъ и проглотивъ рыбу, онъ снова принимается за свой тяжелый трудъ. Какъ-то разъ дѣти были свидѣтелями борьбы между зимородкомъ и другой хищной птицей, желавшей отнять у него добычу. Эмиль тотчасъ-же понялъ, что другая хищная птица — воръ, такъ какъ она хотѣла воспользоваться тѣмъ, что зимородокъ приобрѣлъ трудомъ... Но для всякаго ясно, что приведенные факты могутъ уяснить права труда, существо и признаки правонарушений и пр. лишь тому, кто уже имѣетъ понятіе обо всемъ этомъ. Для человѣка-же, который, предположимъ, лишенъ всѣхъ подобныхъ нравственно-юридическихъ идей, зимородокъ казался-бы такимъ-же воромъ и грабителемъ относительно рыбъ, какимъ хищная птица относительно его самого, и вообще изъ всей этой птичьей драмы вытекало-бы одно нравоученіе, что для удовлетворенія аппетита, сильный разрываетъ и проглатываетъ слабого.

Такимъ образомъ, всѣ попытки свести воспитаніе къ слѣдованію естественному ходу развитія человѣческаго поведения, попытки замѣнить искусственное воздѣйствіе воспитателя естественнымъ руководствомъ самой жизни, оканчиваются введеніемъ готовыхъ нравственныхъ элементовъ въ предполагаемый процессъ эволюціи и въ предполагаемые уроки жизни. Самые рѣшительные враги предвзятыхъ воспитательныхъ идеаловъ не могли однако-же обойтись безъ нихъ. Въ умѣ Ж. Ж. Руссо, когда онъ писалъ своего «Эмиля», постоянно рисовался идеальный образъ дикаря, естественнаго человѣка, очищеннаго отъ порчи искусственной цивилизаціи. Передъ умственнымъ взоромъ автора «Эмиля XIX вѣка», не менѣе не отступно стоялъ образъ закоренѣлаго сына революціи, носителя принциповъ 89 г., демократа, постоянно готоваго къ протесту, къ оппозиціи и къ борьбѣ за свободу личности.

Итакъ, мы не освободились отъ затрудненій нашего вопроса, который по прежнему ждетъ разрѣшенія: каковъ идеалъ или какова руководящая цѣль нравственныхъ воздѣйствій воспитателя?

II.

Такъ какъ идеаловъ объективныхъ, общечеловѣческихъ не существуетъ, то не придти-ли къ рѣшенію, формулированному, напр., французскимъ профессоромъ Compaugé (Cours de pédagogie, 1887, 4 éd.): «Ce n'est pas l'homme en général qu'il s'agit d'élèver; c'est l'homme du dix-neuvième siècle, l'homme d'un certain pays, c'est le citoyen, c'est le Français». Не улаживается ли дѣло такимъ упрощеніемъ задачи, такимъ поставленіемъ вопроса, вдали отъ всякихъ отвлеченностей, на почву простыхъ, конкретныхъ, жизненныхъ соображеній? Къ сожалѣнію здѣсь упрощеніе вопроса есть вмѣстѣ съ тѣмъ и его обмеленіе: задача воспитанія становится какъ будто понятнѣе, но она теряетъ глубину, не приобрѣтая должной опредѣленности. И въ самомъ дѣлѣ, сказать, что воспитаніе должно создать человѣка XIX вѣка, гражданина известной страны, значитъ формулировать задачу такъ-же смутно, какъ она опредѣлена, напр., у барона Корфа (Педагогическіе вопросы, 1882 г.), который утверждалъ, что «воспитатель долженъ дѣлать человѣка такимъ, чтобы лучшая часть общества признала его нравственнымъ». Съ внутренней безсодержательностью этой классической ссылки на вкусы какой-то «лучшей части общества» можетъ сравняться развѣ безсодержательность опредѣленій «дамской» педагогіи, которая объясняетъ (устаами г-жи Цебриковой), что «цѣль воспитанія — подготовить человѣка для жизни», или заявляетъ (устаами г-жи Конради), что идеалъ педагогіи — «сдѣлать нашихъ дѣтей возможно болѣе производительными членами общества, приспособить ихъ къ служенію дѣлу свѣта, добра и справедливости». Безъ долгихъ объясненій видно, что въ подобныхъ фразахъ нѣтъ ровно ничего солиднаго и точнаго. Удивительно-ли, въ виду этого, отвращеніе гр. Л. Толстого къ опредѣленіямъ воспитанія, какъ искусства приспособлять людей къ потребностямъ жизни или времени? «Скажите намъ, — восклицаетъ знаменитый писатель, — какія эти потребности въ Сызрани, въ Женевѣ, на Сыръ-Дарьѣ? Гдѣ можно найти выраженіе этихъ потребностей времени — какого вре-

мени? Мы просимъ — укажите намъ эти потребности; мы отъ всей души искренно говоримъ, что мы желали-бы знать эти требованія времени и не знаемъ ихъ».

Знать и указать ихъ, дѣйствительно, трудно, но за то, какъ легко всякому, подъ ихъ широкимъ флагомъ, транспортировать грузъ своихъ прихотливыхъ вкусовъ, гаданій, фантазій, а иногда и просто пустословія! Какимъ напр., удивительнымъ матеріаломъ набита ъмкая сумка «потребностей времени» у г-жи Водовозовой (Умственное и нравств. развитіе дѣтей, 1891 г., изд. 4-е)! Эта писательница, претендующая воспитывать самихъ воспитателей (ея упомянутое сочиненіе названо «книгой для воспитателей»), высказывается о требованіяхъ времени въ слѣдующемъ духѣ: «По нашему мнѣнію, теперь должно считать нравственнымъ такого человѣка, котораго горе, лишенія, житейскія дразги и неудачи не надламываютъ, не гнутъ въ разныя стороны; человѣка, у котораго воля подчиняется разуму, кто умѣетъ уравновѣсить жажду наслажденія съ святыми обязанностями въ отношеніи къ своей семьѣ и къ людямъ вообще» и пр. Вглядываясь въ это изображеніе почти стоическаго идеальнаго образа, мы видимъ съ удивленіемъ, что весь онъ составленъ изъ однихъ формальныхъ и отрицательныхъ чертъ, между которыми находимъ даже слѣдующія: «онъ (т. е. желательный человѣкъ), — говоритъ г-жа Водовозова, — всегда будетъ презирать двуногихъ животныхъ, готовыхъ ползать на четверенькахъ передъ золотымъ тельцомъ». Далѣе, мы поражаемся недоумѣніемъ, когда г-жа Водовозова, стараясь уяснить свои мысли, указываетъ, въ качествѣ идеальныхъ образцовъ морали, на такія, въ сущности, узко-спеціальныя знаменитости, какъ Робертъ Оуэнъ (извѣстный маньякъ и фантазеръ), Гарибальди (специалистъ революціи) и т. д. Затѣмъ, составивъ свой идеаль, изъ весьма языческаго матеріала, г-жа Водовозова вводитъ въ него свойства, со всѣмъ уже не объяснимыя: «нравственный человѣкъ, говоритъ она, — согласится скорѣе тысячу разъ споткнуться на вновь пролагаемомъ пути, чѣмъ идти по дорогѣ, проложенной дѣдами». Надѣливъ идеальнаго человѣка такимъ болѣзненнымъ, чисто-дамскимъ

пристрастіемъ къ «новымъ фасонамъ», г-жа Водовозова оканчиваетъ свое разсужденіе достойнымъ заключеніемъ: «благородство характера, открытая, честная натура, въ большинствѣ случаевъ, дѣлаетъ человѣка несчастнымъ». Такова послѣдняя неожиданность въ длинной цѣпи другихъ, изъ которыхъ состоитъ разсматриваемый идеаль. Послѣ того, какъ намъ говорили, что быть нравственнымъ значитъ не надламываться, не гнуться, презирать нѣкоторыхъ двуногихъ ближнихъ, спотыкаться на новыхъ дорогахъ, избѣгать какъ огня всякихъ дѣдовскихъ традицій и взирать, какъ на образецъ для подражанія, на Р. Оуэна, — теперь насъ увѣряютъ, что быть нравственнымъ значитъ быть несчастнымъ. Такое сведеніе нравственности къ абсурду уже не только возвращаетъ насъ къ языческимъ кумирамъ, но прямо запираетъ насъ въ глухой закоулокъ, куда не западали никогда лучи даже платоновскихъ теорій о родственности добродѣтели и счастья.

Понимая воспитаніе, въ смыслѣ формировки людей сообразно требованіямъ времени, кромѣ того, что поражаетъ смуту неопредѣленностей и фантазій, подобныхъ только-что описанной, можетъ оказывать еще огромный вредъ въ другомъ отношеніи. Воспитывая молодежь въ угоду потребностямъ дня, вкусамъ «лучшей части общества» и пр., мы ставимъ нашихъ питомцевъ на унижительный путь *служенія толпѣ*, мы готовимъ имъ жалкую участь рабовъ прихотливаго господина. Здѣсь уже не совѣсть, не величавый голосъ долга и не высочій идеаль въ ореолѣ красоты являются руководителями человѣческой души; здѣсь посторонніе, легучіе вкусы распоряжаются на правахъ хозяевъ, среди мыслей, чувствъ и дѣйствій человѣка. Этотъ позорный путь есть вмѣстѣ съ тѣмъ и вѣрный путь къ несчастью. Всѣмъ извѣстна жестокая рука владычества толпы. Толпа эгоистична, она живетъ и дышетъ однимъ инстинктомъ самоудовлетворенія, она «потребляетъ» все, встрѣчающееся на пути, съ поразительнымъ равнодушіемъ къ чужимъ интересамъ, чувствамъ и соображеніямъ. Ее никогда не тревожитъ мысль объ участи тѣхъ, кого она схватываетъ и поглощаетъ въ своей безконечной работѣ самонасыщенія. Толпа знаетъ, по-

читаетъ и любитъ одни свои аппетиты; всякій человѣкъ, взявшій на себя дѣло служенія толпѣ, долженъ пасть передъ этими идолами-аппетитами и поклониться имъ. Толпа цѣнитъ своего слугу единственно по степени его успѣховъ на поприщѣ удовлетворенія ея потребностей, причемъ, для ослабѣвшаго или неуспѣвшаго, тутъ нѣтъ извиненія и нѣтъ пощады. Рабъ толпы, тѣмъ самымъ, есть рабъ успѣха. Быть-же рабомъ успѣха значитъ для человѣка сдѣлаться азартнымъ игрокомъ, обратить свой внутренній міръ въ пустыню, отрекшись отъ всего, что было дорого душѣ и мило сердцу. Пока суэта житейскихъ удачъ наполняетъ своимъ гомономъ душевную пустоту, человѣкъ можетъ еще не сознавать опасности своего положенія. Но достаточно первой неудачи — и печальная истина тотчасъ же обнаружится, нравственное банкротство дастъ себя почувствовать; человѣкъ заглянетъ съ ужасомъ въ бездну своего духовнаго опустошенія, а суровый господинъ — толпа отвернется хладнокровно отъ своего оплошавшаго раба. Послѣ цѣлой жизни, посвященной ловлѣ милоствиваго взгляда «лучшей» или не лучшей части общества, этотъ отслужившій гладиаторъ напрасно будетъ ожидать поддержки отъ своего владыки. Толпа отвѣтитъ ему такъ же, какъ отвѣтили книжники Иудѣ, когда онъ, «угодивъ требованію времени» и получивъ уже награду, спохватился, замѣтилъ мерзость своего угодничества, оцѣнилъ ошибочность своего расчета, бросилъ сребреники еврейскимъ старшинамъ и умолялъ ихъ помочь невыносимому горю своего душевнаго состоянія: «Что намъ до того? Смотри самъ»... Нельзя не содрогнуться отъ теоріи воспитанія, грозящей подобными плодами.

Остановимся еще на одномъ предположеніи: не будетъ-ли всего проще и правильнѣе сказать, что человѣкъ долженъ воспитываться *для собственнаго счастья*? Однако же, всматриваясь въ сущность вопроса, мы тотчасъ приходимъ къ отрицательному его рѣшенію. Прежде всего, этотъ воспитательный взглядъ имѣетъ много общаго съ только-что разсмотрѣннымъ. И дѣйствительно, забота объ узкомъ личномъ благополучіи, постоянно приводитъ человѣка къ стремленію при-

способиться къ средѣ, стать въ соотвѣтствіе съ духомъ и складомъ окружающей жизни и проникнуться свойствами времени. Такъ, напр., если современность преисполнена, положимъ, жестокими условіями существованія, то не слѣдуетъ-ли человѣку озаботиться выработкой въ себѣ соотвѣтственныхъ жестокихъ свойствъ, и, во избѣжаніе участи жертвы, воспитать въ себѣ палача? Или, если всѣ кругомъ живутъ сдѣлками съ совѣстью, то не будетъ-ли условіемъ пріобрѣтенія личнаго счастья презрѣніе и съ нашей стороны къ ригоризму нравственныхъ принциповъ?

Этотъ путь, недоброкачественный уже въ исходномъ пунктѣ, приводитъ и въ концѣ къ плохимъ итогамъ. И въ самомъ дѣлѣ, приспособившись къ средѣ, цѣною крупныхъ душевныхъ опустошеній и подъ опасеніемъ перспективъ, о которыхъ сказано выше, мы приступаемъ, наконецъ, къ главной цѣли, къ накопленію суммы нашего счастья. Мы неутомимо ухаживаемъ за собою, спѣшимъ въ поспѣхахъ насытить каждую потребность, мы подкарауливаемъ, съ пищей наготовѣ, первое побужденіе голода каждой рождающейся страсти. Такимъ образомъ, всѣ наши силы и время уходятъ на утѣхи и баловство нашего эгоизма. Но процвѣтаніе и ростъ эгоизма обходится человѣку очень дорого. Эгоизмъ богатѣетъ только на счетъ общаго обѣдненія души; онъ захватываетъ все, что остается послѣ вымирающихъ въ нашемъ сердцѣ чувствъ и привязанностей. Въ результатѣ оказывается, что вся работа, направленная въ эту сторону нашего личнаго блага, увѣнчивается неожиданнымъ разочарованіемъ. Гидра нашихъ аппетитовъ обнаруживаетъ наклонность оставаться постоянно голодной. Эта гидра держитъ насъ въ безвыходно тяжеломъ состояніи, которое, съ одной стороны, упирается въ муку неудовлетвореннаго желанія, а съ другой — въ тупую боль пресыщенія. И нѣтъ возможности помочь нашей бѣдѣ рычагомъ удовольствій или наслажденій. Слава, честь, богатство имѣютъ какую-нибудь цѣну лишь тогда, когда намъ угрожаетъ ихъ исчезновеніе. Въ силу этого, наша жизнь раздѣляется между равнодушіемъ обладанія жизненными благами и страхомъ ихъ потери. Тревога входитъ

непремѣннымъ элементомъ въ наше счастье и слѣдуетъ за нами по пятамъ, точно тѣнь, вплоть до нашей смерти. Таковы всегдашніе итоги человѣческой погони за эгоистически-личнымъ счастьемъ.

Не трудно вообразить, къ чему сошло-бы общежитіе, если бы оно, дѣйствительно, преклонилось передъ идоломъ личнаго счастья и поставило цѣлью воспитанія «радости жизни». По словамъ Бодрильяра, нѣчто вродѣ осуществленія такого культа счастья или возведенія въ систему жизненныхъ appetitovъ, явила собою парижская Коммуна. Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, люди посвятили себя всецѣло ловлѣ счастья, наслажденій и чувственныхъ возбужденій. Въ два мѣсяца была пережита полная гамма удовольствій власти, мщенія и всякихъ похощеній. 66 дней продолжался маскарадъ, въ которомъ жажда «равенства» въ волю натѣшила униженіями всего высшаго, выдающагося, и вдоволь пощеголяла въ произвольно-раззолоченныхъ мундирахъ съ фантастически-развѣвающимися перьями на шляпахъ. Въ эту эпоху прямолинейнаго движенія къ счастью, наглядный опытъ показалъ, чего можетъ стоить человѣческая жизнь, когда всѣ нравственные принципы отбрасываются и когда въ воздухъ носится побѣдный кличъ: «да здравствуетъ дѣлежъ наслажденій!»

III.

Мы не станемъ продолжать наше блужданіе среди безконечныхъ противорѣчій, разногласій и гадательныхъ утверждений, относительно основнаго идеала воспитанія. Надо думать, что встрѣчаемая здѣсь хаотичность мѣтвѣй обуславливается въ значительной степени не-дисциплинированностью человѣческой мысли и склонностью ея къ безпочвеннымъ фантазіямъ. Правда, человѣка-вообще, котораго имѣетъ въ виду воспитаніе, нигдѣ не существуетъ въ видѣ готоваго реальнаго объекта; мы не можемъ встрѣтить его между конкретными явленіями объективнаго міра, его нельзя отмѣтить гдѣ-нибудь въ толпѣ указательнымъ жестомъ руки. «Чело-

вѣкъ-вообще» есть нравственный идеалъ и живетъ онъ только въ области моральныхъ представленій. Но изъ этого не слѣдуетъ, будто онъ есть ничто, пустой предлогъ для изощренія находчивости или остроумія всякой субъективной фантазіи. Есть нѣчто, снабжающее идею «человѣкъ-вообще» оболочкой опредѣленныхъ моральныхъ чертъ; есть нѣчто, дѣлающее его удобообразнымъ для всѣхъ глазъ, для всѣхъ разумѣній и для всѣхъ сердець.

Первое и важнѣйшее, что вноситъ опредѣленность въ нравственный идеалъ жизни и воспитанія, это то, что онъ очерченъ и объясненъ христіанскимъ ученіемъ. Мы можемъ говорить объ идеальномъ человѣкѣ, какъ о чемъ-то ясномъ и точномъ, потому-что передъ глазами каждаго изъ насъ стоитъ свѣтлый образъ І. Христа. Не какой-нибудь излишній піетизмъ и неумѣстная «набожность» заставляютъ насъ обратить вниманіе въ эту сторону вопроса. Мы обращаемся сюда потому, что здѣсь именно видится лучшее изображеніе великаго нравственнаго добра. Только непонятная человѣческая забывчивость дѣлаетъ то, что мы становимся въ тупикъ передъ основами моральной жизни, недоумѣваемъ относительно нравственныхъ сѣмянъ, которыя должно сѣять въ юныхъ поколѣніяхъ, и пытаемся найти для себя идеальные образцы въ узкихъ и ограниченныхъ личностяхъ какихъ-то Оуэновъ или Гарибальди. Чтобы сказали о человѣкѣ, который, для освѣщенія дороги, пользовался-бы чаднымъ мерцающимъ лучиномъ, въ то самое время, когда все кругомъ залито яркимъ свѣтомъ солнечныхъ лучей? Но нравственный свѣтъ Евангелія, какъ согласится всякій, какова бы ни была степень его религіозности, — есть настоящее солнце въ области морали. Нигдѣ не найдемъ мы болѣе яркаго изображенія истинной правды, которая далека отъ всякой тѣни лжи и формализма, ибо проникнута насквозь пониманіемъ, что «не здоровые имѣютъ нужду во врачѣ, но больные», и что «всякій, дѣлающій злое, ненавидитъ свѣтъ и не идетъ къ свѣту, чтобы не обличились дѣла его».

Нигдѣ, какъ здѣсь, не выдвигается съ большимъ блескомъ внутренняя сторона этой правды, ни на минуту не теряю-

щей изъ виду, что «суббота для человѣка, а не человѣкъ для субботы», что напрасно давать «десятину съ мяты, аниса и тмина, оставляя важнѣйшее въ законѣ», и что много опасности въ человѣческихъ оговоркахъ, въ родѣ той, которую сдѣлалъ утилитаристъ-Иуда по поводу возліянія мира Маріей Магдалиной: «Лучше-бы продать это масло за 300 динаріевъ и роздать нищимъ». Намъ нигдѣ не встрѣтить той концентраціи доброты, какую находимъ въ центральномъ образѣ Евангелія, гдѣ вся богочеловѣческая сила употребляется на помощь нуждающимся и больнымъ, на тайное возвращеніе радости сиротамъ, причемъ никогда эта сила не нисходитъ до того, чтобы создать, напр., ветхозавѣтный «разцвѣтшій жезлъ Аарона» или наказать огнемъ непочтительныхъ людей, «какъ дѣлалъ Ілія». «Хочешь-ли, мы скажемъ, чтобы огонь сошелъ съ неба и истребилъ ихъ», спросили у І. Христа ученики и услышали отвѣтъ: «Не знаете какого вы духа: Сынъ человѣческой пришелъ не истреблять души людей, а спасать».

Спасать людей,—такова нравственная цѣль жизни, но спасать не холодными разсужденіями, не мѣропріятіями эгоиста и сибарита, а спасать неудержимымъ порывомъ самоотверженія, порывомъ, который увлекаетъ насъ «оставлять мертвымъ погребать своихъ мертвецовъ», не даетъ намъ времени спорить о томъ, «кто будетъ большій въ царствѣ небесномъ», и дѣлаетъ яснымъ нашему сердцу, что отнюдь не есть настоящее дѣло—«предвозлежаніе на пиршествахъ и предсѣданіе въ совѣтахъ». Нигдѣ, наконецъ, не заключаются лучшіе, чѣмъ въ Евангеліи, рецепты стойкости характера, такъ какъ отсюда исходитъ неумолкаемый кличъ о томъ, что нѣтъ причины бояться «убивающихъ тѣло, душу же не могущихъ убить», что «претерпѣвшій до конца спасется» и что «блаженны тѣ, кого возненавидятъ люди за правду». Тутъ же и указаніе на единственное условіе моральной устойчивости,—на устраненіе службы двумъ владыкамъ, ибо «человѣкъ съ двоящимися мыслями не твердъ на всѣхъ путяхъ своихъ (посл. ап. Іакова)», тогда какъ человѣкъ цѣльныхъ и горячихъ убѣжденій подобенъ мужу, который построилъ домъ

свой на камнѣ, «и пошелъ дождь, и разлились рѣки и подулъ вѣтеръ, и устремились на домъ тотъ, и онъ не упалъ». Устойчивость въ добрѣ совсѣмъ не то, что насиліе: «Не будь побѣжденъ зломъ, но побѣждай зло добромъ», сказано въ посл. ап. Павла (Римл. 12, 2). Однако-же устойчивость въ добрѣ далека и отъ приспособленія къ средѣ, отъ угодничества передъ толпою, которая проявила всѣ свои специфическія свойства въ великій день распятія, когда она выказала, вокругъ креста, всю слѣпоту своего «здраваго смысла» и всю непроглядную тупость своего остроумія: «Эй, разрушающій храмъ и въ три дня созидающій! Сойди со креста!.. Другихъ спасай, а себя спасти не можешь!.. Вотъ, Ілію зоветь!.. Постоите, посмотримъ, придетъ-ли Ілія снять Его! (Маркъ, 15, 29 и слѣд.)». Нужно только сопоставить безмѣрную ограниченность самодовольства этихъ кликовъ съ возвышеннымъ возгласомъ благословляющаго страданія: «прости имъ!», чтобы понять величіе момента начинавшейся новой нравственной жизни. Съ этихъ поръ уже не представлялось надобности ломать голову или фантазировать надъ вопросомъ, что есть идеальная человѣчность, ибо идеаль открывался для всѣхъ взоровъ съ высоты Голгофы.

Эта истина, конечно, извѣстна въ достаточной мѣрѣ современной педагогій. «Humanität-Christenthum», писалъ Дистервегъ. Пироговъ, въ своей прославившейся статьѣ: «Вопросы жизни» (Морской Сборникъ, 1856, 9), говоритъ: «Ученіе Спасителя, разрушивъ хаосъ нравственнаго (языческаго) произвола, указало человѣчеству прямой путь, опредѣлило цѣль и средоточіе житейскихъ стремленій». Въ томъ-же духѣ высказывается и нашъ извѣстный педагогъ Ушинскій: «Есть только одинъ идеаль совершенства, передъ которымъ преклоняются всѣ народности: это идеаль, представляемый намъ христіанствомъ». Съ утвержденіями отдѣльныхъ педагоговъ по этому вопросу сливается официальная рѣчь правительственныхъ постановленій. Такъ, въ инструкціи по воспитательной части для кадетскихъ корпусовъ, 1886 года, мы читаемъ: «Все чѣмъ человѣкъ можетъ и долженъ быть, выражено вполне въ Божественномъ ученіи, и воспитанію остается

прежде всего и въ основу всего заложить вѣчныя истины христіанства, которое даетъ жизнь и указываетъ высшую цѣль истиннаго воспитанія». Такимъ образомъ, основной рычагъ педагогическаго воспитанія заключается въ томъ, чтобы указанную истину ввести энергично и искренно въ практику жизни. Учебные годы подростящихъ поколѣній должны проходить въ детальномъ и глубокомъ усвоеніи знаній христіанской этики, въ болѣе и болѣе ясномъ пониманіи нравственнаго свѣта, сосредоточеннаго въ идеальномъ образѣ Богочеловѣка.

Параллельно съ этой прямой дорогой сообщенія «знанія добра», идутъ другіе пути. Весьма полезно преподаваніе исторіи философскихъ нравственныхъ ученій. Это изученіе исторіи исканія нравственной правды, зрѣлице неустанныхъ усилій человѣчества подняться въ горній міръ моральнаго совершенства не можетъ не оказывать благородно-увлекающаго дѣйствія на юныя души. Нужно только, чтобы плоды трудовъ человѣческаго разума не отождествлялись съ заповѣдями божественнаго откровенія, ибо въ такомъ случаѣ въ молодыхъ умахъ могла-бы возникнуть ложная и опасная мысль о христіанствѣ до Христа и безъ Него. Что-же касается трудности пониманія философскихъ системъ, то ее возможно значительно ослабить цѣлесообразнымъ способомъ изложенія. Не всегда же философская рѣчь отличается свойствами, которыя подразумѣвалъ Вольтеръ, говоря «*quand celui, qui écoute ne comprend pas et que celui qui parle ne se comprend plus, c'est de la métaphisique*». Страницы исторіи нравственной философіи могутъ быть обращены въ рядъ живыхъ иллюстрацій какъ бы біографіи человѣчества. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно то, что воспитаніе, изъ котораго были-бы исключены Платонъ, Аристотель и др. важнѣйшіе мыслители, не только урѣзало-бы значительно умственное богатство своихъ питомцевъ, но и нанесло-бы сильный ущербъ развитію ихъ совѣсти и сердца.

Считаемъ однако-же не лишнимъ здѣсь-же указать на крайности господствовавшего недавно въ Европѣ увлеченія «классицизмомъ». Подъ вліяніемъ этого увлеченія, нерѣдко указывалось лучшее основаніе для нравственнаго воспитанія именно въ изученіи языка и литературы классической древ-

ности. Нѣкоторые педагоги, мнѣнія которыхъ получили у насъ одно время почти официально-обязательное значеніе, говорили, что произведенія классической древности составляютъ «историческую основу всей европейской образованности» и что «изученіе древнихъ языковъ и литературы справедливо почитается наилучшимъ средствомъ для формальнаго развитія умственныхъ способностей, для эстетическаго образованія и для образованія самого характера». Одинъ изъ такихъ привилегированныхъ авторовъ, Мюльманъ, заявлялъ: «характеръ юношества только тогда образуется и закаляется, когда оно упражняетъ всѣ свои способности преимущественно на одномъ какомъ нибудь учебномъ матеріалѣ; изученіе-же классической древности представляетъ именно подобный учебный матеріалъ, ибо онъ требуетъ совокупной дѣятельности человѣческаго духа и на всѣхъ путяхъ ведетъ къ цѣди». По пути такихъ разсужденій, Мюльманъ приходитъ къ заключенію, что «гимназисты, закаливъ характеръ на одной вышеуказанной цѣли, сохраняютъ тотъ-же закалъ и въ послѣдствіи при другихъ занятіяхъ и на другихъ поприщахъ жизни», и что вообще «изученіе лучшихъ произведеній древности въ подлинникѣ составляетъ въ высшей степени благотворное противоядіе все возрастающему матеріализму нашего времени». Къ этимъ доводамъ нѣмецкаго писателя присоединялись соображенія отечественныхъ авторовъ въ пользу значенія для Россіи изученія греческаго языка и литературы. При этомъ говорилось слѣдующее: «греческій языкъ можетъ одинъ, при посредствѣ нашей православной церкви, служить живою связью между нашей ученой школой и народной жизнью: ибо даже и простолюдины наши не могутъ быть равнодушны къ тому, что учащееся въ гимназіяхъ юношество будетъ достигать возможности читать въ подлинникѣ Евангеліе, поученія великихъ святителей церкви или богослужебные каноны и др. церковныя писанія, вслѣдствіе чего и сама наша ученая школа съ теченіемъ времени станетъ дорога для народа. Сверхъ того, всѣ пути нашего самобытнаго просвѣщенія такъ-же связываютъ насъ съ міромъ греческимъ, какъ западная Европа связана съ латинскимъ».

Нѣтъ надобности въ длинныхъ изслѣдованіяхъ, чтобы распознать во всемъ цитированномъ много преувеличеній. Во-первыхъ, нельзя согласиться съ тѣмъ, будто уже одно упорное сосредоточеніе умственного напряженія на какомъ либо трудномъ предметѣ способствуетъ «формальному развитію умственныхъ способностей» и надлежащему закалу характера. Правда, для оттачиванія, напр., стального лезвія нуженъ предметъ, отличающійся однимъ свойствомъ, — навозможно большей твердостью; но для изощренія ума и характера необходимо, чтобы за трудностями усвоенія, въ предметѣ изученія сіялъ привлекательный свѣтъ, придающій смыслъ работѣ. Иначе, безъ этого смысла, наша энергія не упражняется, а только расходуется; здѣсь совершается лишь не экономная растрата капитальной суммы наличныхъ силъ души. Далѣе, что касается нравственно-воспитательнаго значенія произведеній древности и спасительности ихъ усвоенія противъ матеріализма, то объ этомъ должно замѣтить слѣдующее. Узкіе идеалы матеріализма могутъ быть побѣждены только иными, болѣе полными и высокими идеалами. Но едва-ли дасть намъ такіе животворящіе идеалы міръ классической древности, съ его, въ общемъ, узкой и жесткой моралью; міръ, скончавшійся именно отъ нравственнаго худосочія, въ агоніи скептицизма и разочарованности. Этотъ міръ смѣненъ былъ новымъ, христіанскимъ, въ основу котораго легло Евангеліе. Вызывать къ активной жизни античную древность, переселять ее изъ библиотекъ и музеевъ въ дома и улицы текущей современности, значило-бы содѣйствовать водворенію двойственности жизненнаго идеала; но это не можетъ благоприятно вліять на характеры, а скорѣе — напротивъ, ибо «человѣкъ съ двоящимися мыслями не твердъ во всѣхъ путяхъ своихъ». Для западной Европы, классическую старину возможно, пожалуй, считать «основой образованности», потому что тамъ эпоха возрожденія воскресила духъ языческой древности и нанесла христіанской школѣ тяжелый ударъ, отъ котораго этой школѣ еще предстоитъ оправиться въ будущемъ. Но Россія не бросалась съ отступнической радостью въ объятія греко-римскаго язычества и ей остается продолжать расти

въ христіанскихъ идеалахъ. Напрасно соблазнять ее и родною памятью Византіи. Гомеры, Ксенофонты и другіе авторы, о которыхъ говорятъ программы классическихъ школъ, не византійскіе писатели; они не только не близки сердцу нашего «простолюдина», но и ничего не имѣютъ общаго съ «самобытностью нашего просвѣщенія». Мы не отрицаемъ, конечно, значенія науки эллинизма, мы не отвергаемъ интереса въ знаніи языка многовѣковой цивилизаціи, но мы хотѣли-бы устранить преувеличенія воспитательной важности произведеній греческой литературы. Вспомнимъ, что эти произведенія принадлежатъ племени, которое отличалось именно безхарактерностью, слабою устойчивостью въ добрѣ, измѣнчивостью сердца, лживостью языка и прочими моральными недостатками, навлекшими на эллиновъ, со стороны другихъ народовъ древности, весьма не лестныя аттестаціи: «Graeci vitiorum omnium genitores (Plin.)», «Graeci fallaces sunt permulti (Cic.)», «греки родоначальники всѣхъ пороковъ, великіе обманщики» и т. д. Мы уже не вызываемъ въ памяти печальный образъ грека ювеналовскихъ сатиръ.

Изъ сказаннаго понятно современное отрезвленіе, не желающее больше спеціализировать образованіе на классической древности и придавать ему исключительно филологическую окраску, которая сообщала школѣ сухой характеръ педантизма. Руководство нравственнымъ созрѣваніемъ юношества имѣетъ лучшія средства, чѣмъ чужая старина. Школа, какъ мифическій Антей, сильна лишь стоя на родной землѣ, на національной почвѣ.

IV.

При свѣтѣ евангельскихъ идеаловъ, совершается самостоятельная работа народностей, облакающихъ эти идеалы въ плоть и кровь индивидуальныхъ дѣйствій и массовыхъ стремленій. Воспитаніе должно ввести своихъ питомцевъ въ эту національную лабораторію, въ которой, на протяженіи вѣковъ, вырабатывались основы національныхъ жизнезозрѣній.

Изученіе отечественной исторіи окружаетъ молодежь атмосферой народнаго нравственно-политическаго творчества и открываетъ назидательную перспективу былыхъ доблестей. По замѣчанію Юркевича («Чтенія о воспитаніи»), исторія въ этомъ смыслѣ есть увеличительное стекло, посредствомъ котораго воспитанникъ видитъ, что дозволительно и что обязательно, что похвально и что гнушно.

Такимъ образомъ, вполне естественно требовать отъ преподаванія отечественной исторіи вообще и литературы въ частности, чтобы оно сообщило учащимся ясное пониманіе всего, чѣмъ славно прошедшее Россіи. Проведемъ предъ пытливымъ взоромъ юной любознательности благородныя фигуры «земскихъ» воиновъ Минина, трогательныя личности служилыхъ людей, защитниковъ русской государственности, которые падали одинъ за другимъ, во вѣрнннхъ имъ пунктахъ, подъ бурей «черныхъ годовъ»; вспомнимъ величавыхъ правдолюбцевъ, свидѣтельствовавшихъ истину, не боясь гоненія, пытокъ и смерти. Не забудемъ и безымянныя, сѣрыя народныя массы, съ ихъ великимъ добродушіемъ, которое часто позволяло имъ обходиться безъ желѣзныхъ рѣшетокъ надлежаще охраняемаго права; съ ихъ чуткой воспримчивостью ко всему чужому и непоколюбимой стойкостью въ коренныхъ основахъ своего, съ ихъ изумительно выносливостью, которая, однако-же, не есть пассивность. Но, вмѣстѣ со всѣмъ этимъ, не будемъ утаивать и недостатковъ, отъ которыхъ предстоитъ освободиться нашему отечеству. Не будемъ скрывать нашу вѣковѣчную технически-житейскую неумѣлость, лѣность и небрежность, нашу слабость въ борьбѣ съ мірскими соблазнами и недостаточную стойкость гражданскаго долга въ мелочахъ будничной жизни; нашу терпимость ко всякаго рода правонарушеніямъ, и наше застарѣлое заблужденіе, будто достоинство человѣка опредѣляется суммой его матеріальнаго или общественно-іерархическаго благосостоянія. Не обойдемъ молчаніемъ наше чванство, которое гонитъ насъ вверхъ по вѣшнымъ соціально-служебнымъ лѣстницамъ и мѣшаетъ заняться истиннымъ, т. е. умственно-нравственнымъ возвышеніемъ; нашу ложную идею о чести,

унаслѣдованную отъ старины, когда почтенные предки, обиженные мѣстомъ за официальнымъ празднествомъ, упорно прятались подъ столъ. Пусть преподаваніе отечественной исторіи покажетъ все это учащимся, безъ утайки, но съ соблюденіемъ, конечно, необходимаго педагогическаго такта и освѣщенія. Едва-ли должны останавливать здѣсь препятствія, указанныя въ прилож. къ § 74 нашего гимназическаго устава: «Замѣчено, что излишнее число уроковъ, назначенныхъ на исторію, ведетъ лишь къ тому, что учителя въ формѣ лекцій, совершенно неумѣстныхъ въ гимназіяхъ, сообщаютъ ученикамъ или слишкомъ дробныя свѣдѣнія, или же общіе взгляды на историческія лица и событія, — взгляды, способные лишь противодѣйствовать правильному умственному и нравственному развитію юношества, и притомъ вовсе не соответствующіе ни возрасту гимназистовъ, ни характеру гимназическаго преподаванія». Не имѣя достаточныхъ свѣдѣній, чтобы судить о качествахъ преподаванія исторіи въ гимназіяхъ, мы, однако же, не можемъ приписывать его недостатки излишнему числу уроковъ, а также не можемъ согласиться съ заключеніемъ, которое находимъ ниже: «Чѣмъ меньше обучали бы въ гимназіяхъ собственно исторіи и чѣмъ болѣе вводили бы юношество въ жизнь древнихъ классическихъ народовъ посредствомъ чтенія ихъ произведеній въ подлинникѣ, тѣмъ было бы лучше для науки вообще и для исторической науки въ особенности». Надо думать, что наличность плохаго преподаванія говоритъ лишь о томъ, чтобы оно было улучшено, чтобы оно было поручено достойнымъ учителямъ и вооружено лучшими (гораздо лучшими, чѣмъ теперь) пособіями. Лишать-же молодежь національно-историческаго образованія, значить выпускать ихъ въ жизнь безпочвенниками и предоставлять ихъ всѣмъ четыремъ вѣтрамъ случайнаго чтенія и превратнаго внушенія. Пусть русской юноша научится понимать свой національный способъ осуществленія общехристіанскаго нравственнаго идеала. Пусть онъ привыкнетъ участвовать сердцемъ въ національномъ ростѣ, радуясь общерусскимъ побѣдамъ на этомъ пути и горя о проявленныхъ здѣсь общихъ слабостяхъ.

Указаніе на важность національно-правственнаго воспитанія, въ лонѣ отечественной исторіи, представляет собою старую истину. Человѣкъ не долженъ теряться въ космополитическомъ значеніи «человѣка-вообще», — писалъ Гердеръ, напоминая съ сочувствіемъ о томъ, что Алкивиадъ далъ пощечину афинскому учителю, въ школѣ котораго не оказалось произведеній перваго народнаго поэта, Гомера. Умѣніе цѣнить свою самостоятельную духовную сущность и свое историческое достояніе составляет обычное явленіе на западѣ. Отецъ Михеля (у Шерра), давая наставленія сыну, внушительно повторяетъ: «Старайся образовать изъ себя человека и нѣмца, да, нѣмца, слышишь-ли»? Въ западной Европѣ, по справедливому замѣчанію Ушинскаго, нѣтъ ни одного, самаго мелкаго народца, который бы не уважалъ свою національность. Только въ Россіи приходится встрѣчаться съ литераторами и педагогами, которые доказываютъ во всеуслышаніе, что ни въ нашемъ прошломъ, ни въ нашемъ настоящемъ, нѣтъ ничего такого, на чемъ могла-бы остановиться юная душа съ любовью и почтеніемъ. Нужно-ли говорить о безотраднѣйшей нелѣпости подобнаго явленія? При крайнемъ отвращеніи ко всякаго рода «полемическимъ экзекуціямъ», мы не можемъ однако-же не остановиться на одномъ изъ образчиковъ такого педагогическаго недомыслия, именно на упомянутой выше «книжѣ для воспитателей» г-жи Водовозовой.

На десяткахъ страницъ своего сочиненія, г-жа Водовозова изображаетъ старорусскую жизнь въ видѣ самой ужасной «воспитательной среды». Потокъ хулы начинается избитыми, «уличными» порицаніями Домостроя, все содержаніе котораго объявляется «грубымъ до жестокости, суровымъ и дикимъ». Г-жа Водовозова, очевидно, не повимаетъ, что Домострой не картина жизни, а лишь сухой экстрактъ житейскихъ правилъ, и что авторъ этой книги не художникъ-бытописатель, а уставщикъ. Разсматривая планъ какой-либо мѣстности, мы напрасно задавались-бы вопросами: гдѣ здѣсь живительный воздухъ полей? Гдѣ раздолье перспективы ландшафта? Точно также, читая описаніе обряда богослуженія, излишне было-бы

воскликать: гдѣ здѣсь поэзія молитвы! Обращаясь къ главамъ и параграфамъ Домостроя, мы должны въ нихъ видѣть лишь сухую схему стариннаго жизненнаго уклада, которую, — чтобы представить ее въ живомъ образѣ, — нужно было-бы наполнить внутреннимъ нравственнымъ содержаніемъ, черпая его изъ древнихъ произведеній литературы и поэзіи, изъ были историческихъ фактовъ и изъ другихъ свидѣтельствъ о народной жизни. Впрочемъ, и самъ Домострой, для тѣхъ, кто не судитъ о немъ по слухамъ, заключаетъ въ себѣ отнюдь не одну «суровую дикость». Развѣ не находимъ мы тутъ предписаній «любить дѣтей и береги», «хранити и блюсти о чистотѣ тѣлесней и отъ всякаго грѣха, отцѣмъ чадъ своихъ, яко же зеницу ока и яко своя душа»? Современнымъ педагогамъ не нравится домостроева грозность: «воспитаи дѣтище съ прещеніемъ» и пр. Но Домострой настаиваетъ на строгости, съ сознаніемъ вреда излишнихъ послабленій. Онъ какъ будто прозрѣваетъ результаты позднѣйшей педагогіи «безъ прещенія», когда говоритъ: «Ожесточавъ не повинетъ ти ся и будетъ ти досажденіе, и болѣзнь души, и тщета домова, погибель имѣшю, и укоризна отъ сусѣдъ, и посмѣхъ предъ враги, предъ властеля платежъ и досада зла». Но Домострой не изображаетъ родителей деспотами, передъ которыми было бы умѣстно только чувство страха; онъ говоритъ дѣтямъ: «не забывайте труда матерни и отцова, яже о васъ болезноваша и печальни быша». Вообще, строгость не считается здѣсь средствомъ простаго забиванія и не почитается сама по себѣ цѣлью; она мотивируется тѣмъ, что строгостью «душу его (питомца) избавляеши отъ смерти». Отрокъ и юноша отнюдь не кажутся Домострою законной жертвой родительскаго самодурства; напротивъ, онъ говоритъ и повторяетъ, что «кто молода человека избидитъ, тотъ будетъ проклятъ и въ этомъ и въ томъ свѣтѣ».

Г-жѣ Водовозовой все это осталось неизвѣстнымъ. Съ печальною рѣшительностью она заявляетъ: «Понятно, что общество, почерпавшее всю мудрость и всю житейскую философію изъ Домостроя, не могло имѣть ни малѣйшихъ понятій о нравственности». Старорусскую религіозность «воспитатель-

ница воспиталей» считаетъ пустою обрядностью, не отражавшеюся на жизни, хотя сама же вскользь и противорѣчиво замѣчаетъ: «изъ своего дома каждый старался тогда устроить церковь въ миниатюрѣ и предѣ монашескими идеалами все благоговѣло и преклонялось». Особенно недоволенъ нашъ авторъ высотой, на которой стоялъ въ тѣ времена авторитетъ отца семейства. Г-жа Водовозова раздражается по этому поводу негодованіемъ, не желая понять, что авторитетъ отца сослужилъ свою великую службу: только онъ положилъ первыя основы нравственной дисциплины, первую рѣзкую линію между морально-дозволеннымъ и недозволеннымъ. Только послѣ того, какъ положено это основаніе нравственной выучки можно перейти къ критикѣ авторитета, ибо тогда у критикующаго уже есть извѣстная складка въ характерѣ, которая не допустить его упасть до степени разнузданной вседозволенности. Очевидно, г-жа Водовозова идетъ по стопамъ педагогіи, которая прямо начинаетъ дѣло воспитанія съ возбужденія въ питомцахъ критики, безошадной и безудержной «дѣтской» критики, по отношенію къ родителямъ и наставникамъ, затѣмъ, переходитъ въ фазисъ презрѣнія «молодаго поколѣнія» къ старому, и, наконецъ, достигаетъ вершины своего грустнаго развитія въ состояніи разнузданности, гдѣ правила жизни исчезаютъ въ хаосѣ летучихъ чувствъ и случайныхъ идей, гдѣ воцаряется хроническое нравственное блужданіе и развращенность, разочарованіе и полное отсутствіе устойчивости воли. Отъ этихъ именно бѣдъ хотѣла защититься старорусская инстинктивная педагогія своими аскетическими идеалами и отцовскимъ авторитетомъ. Нельзя, казалось-бы, отрицать достоинства этихъ воспитательныхъ средствъ, ибо они дали Россіи нравственныя силы небезславно пережить тысячелѣтіе. Сама г-жа Водовозова дѣлаетъ нечаянныя обмолвки о томъ, напр., что «въ тѣ времена, при воспитаніи юношества руководились только (только!) однимъ стремленіемъ — воспитать его въ благовѣрїи и благочестїи». Но вообще отношеніе нашего автора къ прошедшему Россіи безошадно; съ замѣчательною любовью къ дѣлу здѣсь описываются пороки старины, съ уди-

вительно въ авторѣ-женщинѣ охотою изображаются проявленія нескромныхъ похотей нашихъ предковъ. Утрированная, суздальская живопись ужасовъ крѣпостнаго права тутъ переплетается съ явными клеветами, въ родѣ слѣдующей: «Характеромъ рабскаго страха, вѣроломства и предательства отличались отношенія рабовъ къ господамъ, господа къ болѣе знатнымъ, а также и къ царю: знатный господинъ хорошо служилъ царю только потому, что боялся его батогами и побоевъ, или ждалъ отъ него подачки». Въ такомъ духѣ, страница за страницей, изливаются въ разсматриваемой книгѣ потоки грязи на русское историческое прошлое. Нигдѣ ни проблеска луча свѣта. Автора не останавливаетъ и не вразумляетъ, ни воспоминаніе о крупныхъ событіяхъ отечественной исторїи, ни славные примѣры доблести отдѣльныхъ личностей.

Съ непростительнымъ легкомысліемъ этихъ огульныхъ порицаній можетъ сравниться только легкомысліе восхваленій «единственно свѣтлаго момента» — такъ называемой эпохи 60-хъ годовъ. Г-жа Водовозова съ комической наивностью описываетъ эти года такими чертами: «Тогда съ неудержимой энергіей бросились распространять идеи направо и налево». «Просвѣщеніе, самыя разнообразныя реформы русской жизни, критическій анализъ и мышленіе общества пошли впередъ *шлантскими шагами*». «*Всѣ вдругъ бросились учиться и учить другихъ*». «Старые боги, прежніе кумиры поверглись въ прахъ безъ сожалѣнія, обыкновенно съ сарказмами, часто даже съ злобою». «Прочь всю эту мишуру и мистификацію, кричали теперь, и старый богъ эпикурейства разлетѣлся въ прахъ; взамѣнъ его поставленъ былъ принципъ утилитаризма (по вѣдъ Эпикуръ есть именно основатель утилитаризма?)». «Учитель, литераторъ, помѣстившій хотя одну работу въ органѣ направленія противоположнаго современнымъ стремленіямъ, не допускался въ порядочное общество». По педагогическимъ приемамъ того времени, «дѣтямъ не приказывали, а *уговаривали* ихъ сдѣлать то или другое, объясняя, почему это необходимо». «И этихъ людей 60-хъ годовъ, — восклицаетъ наивная г-жа Водовозова, — клеймили кличками нигилистовъ, отрицателей!»

Таковъ хламъ недомыслия, грязнящій закоулки нашей спеціальной педагогической литературы! Таковы примѣры историческаго жетолкованія и клеветническаго вздора, распространяемаго сотнями фунтовъ (известно, что сочиненія этого рода всегда публикуются съ коммерческимъ указаніемъ ихъ почтоваго вѣса), въ качествѣ воспитательнаго матеріала для воспитателей, въ качествѣ поученія тѣмъ, кто поучаетъ русскихъ дѣтей! Не слѣдуетъ-ли пламенно желать, чтобы этотъ соръ и вздоръ былъ выброшенъ подальше, чтобы у васъ водворилось солидное отношеніе къ историческому прошлому, и чтобы воспитаніе показывало своимъ питомцамъ нравственный христіанскій идеалъ въ національно-русской оболочкѣ? Пора придти къ пониманію, что, по вѣрному замѣчанію Гюйо, «не прерывность національныхъ традицій есть истинное условіе прогресса и неизсякаемый источникъ истиннаго просвѣщенія». Пусть наша школа объясняетъ учащемуся поколѣнію связь нашего прошедшаго съ настоящимъ, пусть она окружаетъ воспитанника обществомъ благородныхъ соотечественниковъ всѣхъ эпохъ и вводитъ cadaго юношу въ общую работу національнаго усовершенствованія, такъ чтобы никто не чувствовалъ себя умственно-нравственнымъ бродягой или несчастнымъ сиротою, безъ почвы и опоры, безъ рода и племени. Всѣмъ памяты «Призраки», посѣщавшіе нѣкогда воображеніе Тургенева; всѣ мы помнимъ ночныя грезы заблуждавшагося писателя, въ которыхъ картины и сцены европейской жизни чередовались съ русскими сюжетами. Въ этихъ фальшивыхъ параллеляхъ рисуются очаровательные ландшафты *Isola bella*, его прекрасныя лѣса и горы, съ мягко-лазоревымъ блескомъ и съ волнами померанцоваго запаха, поэтическіе всплески озера, серебромъ звенящіе звуки женской итальянской пѣсни, — и рядомъ со всѣмъ этимъ плоская картина русской Волги, съ рѣзкимъ рѣчнымъ вѣтромъ, угрюмая и одичалая пустыня, оглашаемая, по прихоти художника, хаосомъ дикихъ звуковъ «русской исторіи» эпохи Разина. «Грустно было мнѣ, — описываетъ Тургеневъ результаты впечатлѣній своихъ тенденціозныхъ параллелей. — Какъ-то равнодушно скучно... Всѣ чувства потонули въ одномъ, въ чувствѣ отвращенія, и сильнѣе

всего и болѣе всего во мнѣ было отвращеніе — къ самому себѣ... Точно я возвращался въ четвертомъ часу ночи отъ московскихъ пріятелей, съ которыми съ самаго обѣда толковалъ о будущности Россіи». Это чувство тоски и отвращенія къ себѣ — естественная и достойная кара писателю за ошибку его ума и за измѣну его сердца. Пусть благородныя, родныя тѣни отечественнаго прошлаго живутъ въ юныхъ грезахъ русской молодежи, и да не смущаютъ раннихъ сновидѣній нашего юношества мрачныя «Призраки» фальшивыхъ тенденцій!

Кромѣ всѣхъ путей, ведущихъ къ пріобрѣтенію знанія и пониманія нравственныхъ основъ отечественной жизни, среднее образованіе должно еще снабдить своихъ питомцевъ свѣдѣніями о коренныхъ чертахъ внѣшняго, юридико-политическаго уклада этой жизни. Многіе изъ западныхъ педагоговъ настаиваютъ на необходимости сообщенія такихъ свѣдѣній. Вы требуете, — говорятъ они, — чтобы молодежь уважала и любила государство, но она не имѣетъ о немъ никакого понятія, она живетъ въ совершенномъ невѣдѣніи относительно склада общественной и гражданской жизни. Правда, газеты, журналы, бродящіе въ публикѣ слухи, заполняютъ пробѣлы, но этотъ сомнительный свѣтъ едва-ли можетъ возрастить надлежащую жатву на вовсе невоздѣланной, лишенной всякой самостоятельности почвѣ юношескихъ смутныхъ порываній. Французскій педагогъ Gréard замѣчаетъ: «зная кое-что о томъ, чѣмъ были въ свое время Мажордомы, наши юноши не имѣютъ понятія, что такое мэръ ихъ округа или деревни». Само собою разумѣется, среднее образованіе не можетъ и не обязано вводить въ свою программу систематическіе и научныя курсы политики и права; цѣль сообщенія названныхъ свѣдѣній заключается не въ томъ, чтобы создавать специалистовъ, а въ томъ, чтобы заблаговременно воспитывать въ душѣ питомцевъ школы сознательное чувство любви къ отечеству и уваженія къ закону.

Курсы «законовѣдѣнія», бывшіе прежде въ гимназическихъ программахъ, отмѣнены, однако-же, едва-ли можно обойтись безъ нихъ. Никакъ нельзя забывать, что, во-первыхъ, сред-

нее образованіе охватываетъ собою отнюдь не одинъ лишь дѣтскій возрастъ, и что, во-вторыхъ, за гимназическимъ обученіемъ часто слѣдуетъ специально медицинское, естественно научное или филологическое, оставляющее молодого человѣка въ полномъ невѣдѣніи относительно самой азбуки гражданской и политической жизни вообще и отечественной — въ частности. Весьма знаменательно, что по отмѣнѣ курсовъ «законовѣдѣнія», въ смутную эпоху семидесятихъ годовъ, министерство народнаго просвѣщенія не разъ давало предписанія, въ которыхъ говорило: «Пусть наставники, при случаѣ, и когда по ихъ мнѣнію встрѣтится надобность, расскажутъ болѣе взрослымъ и понятливымъ ученикамъ, что несчастные политическіе фанатики затѣваютъ провести въ народъ свои несбыточные фантазіи, не гнушаясь при этомъ ни воровствомъ, ни грабежомъ, ни даже убійствомъ, и что именно ихъ-то вознамѣрились они избрать своимъ орудіемъ. Этого будетъ достаточно для честной молодежи, для того, чтобы современемъ сдѣлаться полезными гражданами. Истина не боится свѣта», и т. д. (мин. расп. отъ 24 мая 1875 г.).

V.

Ознакомленіе со смысломъ и велѣніями нравственнаго идеала не ограничивается предѣломъ средняго образованія, гдѣ преподаваніе св. Писанія раскрываетъ предъ учащимися свѣтлыя черты евангельской морали, а преподаваніе отечественной исторіи церкви, государства и литературы вводитъ питомцевъ школы въ умственное общеніе съ національнымъ трудомъ культурнаго развитія. Высшее, специальное образованіе должно продолжать это дѣло, среди своихъ особенныхъ, специальныхъ условій.

Какъ въ отдѣльныхъ личностяхъ заключается такой или иной consensus духовныхъ свойствъ и тенденцій, такъ и учебныя заведенія обладаютъ болѣе или менѣе выраженною и опредѣленною моральною фізіономіею, которую обыкновенно называютъ «духомъ» заведенія. Этотъ «духъ» не вездѣ оди-

наковъ: иногда, къ сожалѣнію, въ немъ выступаютъ весьма неутѣшительныя свойства. Вспомнимъ для примѣра книгу г. П. У.: «Общественное воспитаніе и образованіе въ Россіи» (1869 г.), гдѣ говорится объ убогихъ школьныхъ «идеалахъ», которые слагаются лишь изъ такихъ элементовъ, какъ «порядочность манеръ, хорошая одежда, легкость французскаго разговора, а затѣмъ, легкое движеніе по службѣ, при содѣйствіи начальствующихъ и товарищей изъ своихъ». Здѣсь profession de foi, по словамъ г. П. У., складывается въ слѣдующую формулу: «намъ нужно быть готовыми на всякія мѣста, гдѣ бы они ни были, съ тѣмъ, чтобы переходить отъ хорошаго къ лучшему, стараясь только быть поближе къ солнцу». Само собою разумѣется, что подобныя идеалы, ведущіе лишь къ распространенію тщеславной чиноманіи, фатовства, прислужничества и тунеядства, должны быть изгнаны во что бы то ни стало. Подобный «духъ» заведенія является разсадникомъ людей, способныхъ только дискредитировать самые священные въ глазахъ народа уклады общегитія.

Истинный смыслъ специальныхъ идеаловъ высшей школы состоитъ въ специальномъ способѣ служенія добру. Преподаваніе извѣстной отрасли наукъ и искусствъ не должно замыкаться въ узко-техническую сферу и довольствоваться сообщеніемъ простой технической умѣлости. Слѣдуетъ совершенно оставить заблужденіе, будто государству нужны только знающіе инженеры, искусные медики и пр. Всякая дѣятельность члена общества всегда заключаетъ въ себѣ неотдѣлимую этическую подкладку, безъ которой нѣтъ ручательства, что знанія даннаго лица окажутся средствомъ достиженія общаго блага, а не орудіемъ нанесенія вреда интересамъ общимъ. Учебныя заведенія, поэтому, являясь отвѣтственными за употребленіе той силы, которою они снабжаютъ своихъ питомцевъ, должны внушать имъ сознаніе соответственныхъ обязанностей, должны вырабатывать въ умѣ образовывающихся специалистовъ образъ специалиста идеальнаго.

Такъ, напр., задача юридическаго образованія отнюдь не ограничивается выпускомъ законниковъ, хорошо ознакомленныхъ со статьями и сводами различныхъ правъ. Уважающее

себя преподаваніе юриспруденціи преслѣдуетъ болѣе глубока цѣли. Оно обращаетъ юношески-пытливое вниманіе учащихся на странную и вмѣстѣ печальную жизненную загадку: почему юристы, дѣятельность которыхъ, казалось-бы, такъ полезна для общегитія, весьма часто не пользуются симпатіями общества? Почему люди специально занятые проведеніемъ въ жизнь велѣній права, имѣющаго цѣлью единеніе, миръ и порядокъ общегитія, — вызывали и вызываютъ враждебное къ себѣ отношеніе со стороны общества, интересамъ котораго они обязаны посвящать свои труды и силы? Почему старинныя европейскія общины, современницы перваго расцвѣта юриспруденціи, такъ часто изгоняли съ позоромъ юристовъ и обращались со слезными просьбами къ государямъ объ избавленіи отъ докторовъ права? Откуда это удивительное единодушіе во взглядахъ какого-нибудь средневѣковаго европейскаго горожанина и, напр., современнаго русскаго крестьянина? Чѣмъ объяснить, что наши простонародныя клички, придаваемая юристамъ, являются какъ-бы отголоскомъ и продолженіемъ тѣхъ нелестныхъ эпитетовъ, которые сохранились по всей Европѣ, съ самыхъ отдаленныхъ временъ, и величаютъ на всѣхъ языкахъ специалистовъ права «грабителями», «смутьянами», *panis quaestores et auri corrasores, juristae sunt jurgistae, juris consultus — juris tumultus, juris periti sunt juris periti, legum doctores sunt legum dolores, Juristen böse Christen, Rechtsbieger, Beutelschneiger, Blutsauger, Grippe deniers, escumeurs des bourses, harpies*, и т. д.? Чѣмъ порождены юмористическія но формѣ, но ужасныя по смыслу сентенціи, циркулирующія въ нашемъ народѣ: «Судъ людямъ не на радость данъ. Будь чистъ, какъ стекло, а ступилъ въ судъ ногой, полѣзай въ мошну рукой. Судья что плотникъ: что захочетъ, то и вырубить, а законъ у него что дышло — куда захочетъ, туда и повернетъ». И почему эти горькія шутки переживаютъ всѣ усилія прогресса, всѣ мѣропріятія реформъ?

Преподаваніе науки права должно приподнять завѣсу этой жизненной загадки и объяснить причину этого факта. Оно должно показать, что юристы обнаруживали и обнаружива-

ютъ склонность смотрѣть односторонне на роль и назначеніе права. Съ давнихъ поръ они утвердились въ мысли, что право имѣетъ единственную задачу устроить внѣшній порядокъ общегитія, законно вооружить эгоизмы для борьбы за существованіе, снабдить личности извѣстными «сферами свободы» и, втолкнувъ эти законно-вооруженныя личности въ водоворотъ общегитія, предоставить имъ просторъ прокладывать себѣ дорогу на собственный рискъ и страхъ, среди легализированныхъ междоусобій, среди безпощадной битвы силъ и притязаній. Ложный исходный пунктъ роковымъ образомъ долженъ былъ вызвать соотвѣтственно ложные выводы. И вотъ мы видимъ изобрѣтеніе какой-то «формальной справедливости», которая будто-бы можетъ жить и дѣйствовать независимо отъ «матеріальной», дѣйствительной правды. Удивительно-ли, что юристы, въ силу этого, привыкаль считать дозволительнымъ все, «что не запрещено законами», привыкаль проводить желѣзную линію къ той или другой желательной цѣли по живому тѣлу житейскихъ фактовъ, привыкаль, наконецъ, втискивать непокорныя жизненныя явленія въ нужную для него форму, уловлять эти явленія крюкомъ «юридической фикціи», жонглировать правовыми положеніями, смотрѣть на статьи закона, какъ на гибкую сталь боевой шпаги, выкраивать себѣ изъ чужихъ несчастій формально праведную мзду или, въ угоду собственному мелкому тщеславію, черное перекрашивать въ бѣлое, выставяль преступное злодѣяніе сложной, возвышенной драмой. Удивительно-ли, что общество, неся на своихъ плечахъ подобное безчинство, скорбитъ и посылаетъ юристамъ проклятіе?... Преподаваніе науки права должно настойчиво твердить и повторять, что право есть только одна изъ граней общей этической жизни людей, что право есть отрасль нравственности и живетъ однимъ съ нею представленіями о добрѣ и правдѣ. Преподаваніе юриспруденціи обязано внушать, что область права уже области морали потому, что сложный аппаратъ защиты юридическихъ нормъ фактически не можетъ идти далѣе извѣстныхъ предѣловъ.... Изъ этихъ и подобныхъ настойчивыхъ указаній, самъ собою выдвигается великій идеаль для юри-

ста. Передъ нимъ открывается свѣтлая перспектива—проявлять каждымъ шагомъ своей дѣятельности внутреннее, неразрывное родство права и нравственности, содѣйствовать водворенію въ общежитіи истинной правды, налегать во всѣхъ житейскихъ недоразумѣніяхъ всѣмъ вѣсомъ своего спеціальнаго знанія и дарованія на сторону добра и, такимъ образомъ, содѣйствовать возстановленію уваженія и любви въ обществѣ къ юристамъ, какъ честнымъ слугамъ его благополучія. И мы спрашиваемъ: не способенъ-ли этотъ идеаль наполнить благороднымъ содержаніемъ каждый день человеческого существованія, и есть-ли смыслъ, въ виду этого идеала, въ повторяющихся часто утвержденіяхъ, что жизнь пуста, скучна, и будто, въ сущности, «не стоитъ жить»?...

Въ такомъ-же родѣ могутъ и должны выдвигать руководящій идеаль всѣ высшія школы разныхъ специальностей. Пусть, на ряду съ приобрѣтеніемъ спеціальныхъ знаній, учащіеся получаютъ и пониманіе соотвѣтственнаго спеціальнаго жизненнаго идеала, въ которомъ общехристіанскій образъ должнаго, облеченный въ плоть и кровь національныхъ свойствъ, является безотлучнымъ указателемъ истиннаго способа служенія добру на избранной профессиональной дорогѣ жизни. Этимъ могло-бы значительно парализоваться знаменитое «*taedium vitae*», эпидемія разочарованности, которая такъ страшно свирѣствовала въ эпоху умиранія классическаго міра и снова зародилась въ смущенной нравственной атмосферѣ современности. Указанными выше идеалами устранилось-бы моральное недоумѣніе людей, которые не знаютъ, къ чему прилѣпиться душою, и оканчиваютъ тѣмъ, что безъ борьбы и страсти соскользаютъ въ бездну чувственнаго озвѣренія.

Необходимо однако-же, сдѣлать здѣсь оговорку: въ понятіе о служеніи идеалу не должна входить надежда на быстрое его осуществленіе, на возможность горячимъ порывомъ достигнуть сразу цѣлей блага. Всякому человѣку слѣдуетъ знать, что жизненный путь не усыянъ розами, что идя подь самымъ священнымъ знаменемъ, все-же неизбѣжно приходится встрѣчать на дорогѣ тупой протестъ, скрытый ропотъ злобнаго неудовольствія, лукаво замаскированный подвохъ и

пошлое подозрѣваніе эгоистическихъ вождельній во всякомъ безкорыстнѣйшемъ стремленіи. Надо быть въ постоянной готовности натолкнуться на жуткія и гадкія житейскія картины, на несправедливый триумфъ жалкихъ ничтожествъ, берущихъ жизненные призы, на бессмысленно вздутыя репутаціи, на сократовскій «неисповѣдимый бобъ», на утопаніе общаго блага въ грязныхъ волнахъ лжи и лицемѣрія. Человѣкъ, незнающій дѣйствительнаго положенія вещей, можетъ, при первомъ зрѣлищѣ зла, не уступающаго усиліямъ, пошатнуться въ своемъ служеніи идеалу и придти въ отчаяніе. Къ чему трудиться?—можетъ воскликнуть такой человѣкъ.— Не лучше-ли уйти куда-нибудь подальше, поселиться на берегу какого-нибудь чужеземнаго озера, гдѣ сіяютъ вѣчные снѣга Монблана, гдѣ твердыни *Dent-du Midi* громоздятся къ небу, а граціозныя замки отражаются въ зеркалѣ хрустальныхъ водъ? Не лучше-ли тамъ окончить жизнь, безопасно вдыхая благорастворенный воздухъ и лаская взоръ вѣчной прелестью ландшафта? Чтобы избѣжать такихъ порывовъ къ дезертированію, нужно успокаивать себя наивозможно яснымъ сознаніемъ великой сложности общественныхъ явленій, нужно поддерживать въ себѣ надежду на провидѣніе, которое поможетъ, выведетъ погрязшихъ во тьмѣ на дорогу, покараетъ зло и его служителей. Нужно нестолько количественно мѣрить свои поступки, сколько прислушиваться къ качественной оцѣнкѣ своихъ дѣйствій совѣстью. И если приговоръ этой совѣсти благопріятенъ, надо чувствовать себя на высотѣ, съ которой теряютъ призрачное величіе, теряютъ возможность беспокоить сердце и шевелить зависть всѣ эти окружающіе «успѣхи», увѣнчанныя пошлости и спящія подь сѣвью фальшивыхъ лавровъ нерадѣнія.

Сообщеніе молодому человѣку всѣхъ подобныхъ свѣдѣній, дающихъ возможность ориентироваться въ жизни, составляетъ въ наше время дѣло и обязанность школы. Нѣкогда сама житейская среда была исполнена назиданій. Вспомнимъ классическія Афины. Молодой эллинъ почерпалъ моральную мудрость на площади, въ бесѣдахъ съ Сократомъ, проникался возвышающимъ духъ краснорѣчіемъ Перикла, созрѣвалъ въ

эстетическомъ пониманіи красоты, любуясь статуями Фидія, получалъ глубокіе уроки въ касавшихся неба трагедіяхъ Софокла или въ разрывавшихъ мусоръ общежитія комедіяхъ Аристофана. Площадь, улица, раскрытый настежь предъ толпой амфитеатръ, были ежеминутной школой нравственно-политическаго образованія. Не такова, какъ извѣстно, наша улица и наша площадь. Тутъ немощный гомонъ газетныхъ листовъ, сонный, едва членораздѣльный говоръ толпы, назойливые мотивы оперетки, пошлый лепетъ драматическихъ произведеній, вопіющіе случаи лжи судебного краснорѣчія. Гдѣ здѣсь услышать вдумчивое слово Аристотеля или вдохновенный патріотизмъ Демосфена? Гуляя, современный юноша не можетъ научиться ничему хорошему, и онъ стоитъ поэтому растерянный, недоумѣвающий, предъ сложностью и путаницей жизни. Помочь ему въ критическую минуту раздумія — священный долгъ солидной школы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Желаніе добра.

I.

Объемъ знаній, имѣющійся у человѣка, не обуславливаетъ собою соотвѣтственной степени добродѣтели. Это безспорная истина, хотя по нынѣ приходится встрѣчать оптимистическія мнѣнія о вліяніи науки и умственнаго образованія на нравственность. Проф. Ушинскій справедливо говорилъ: «Конечно, образованіе ума и обогащеніе его познаніями можетъ принести много пользы, но увы! я никакъ не полагаю, чтобы ботаническія и зоологическія познанія, или даже ближайшее знакомство съ глубокомысленными твореніями Фохта и Молешота, могли сдѣлать гоголевскаго городничаго честнымъ чиновникомъ и совершенно убѣжденъ, что будь Чичиковъ посвященъ во всѣ тайны органической химіи или политиче-

ской экономіи, онъ остался-бы тѣмъ-же весьма вреднымъ для общества пронырой». Нѣчто подобное высказано было однажды въ парламентѣ знаменитымъ Мольтке: «Говорятъ, что школьный учитель одержалъ наши побѣды, но одна наука, безъ воспитанія, не въ силахъ поднять человѣка до высоты, на которой онъ является готовымъ пожертвовать жизнью за идею, за исполненіе долга, за честь отечества». Никакъ нельзя настаивать на непремѣнной связи между уровнемъ нравственности и развитіемъ ума, хотя бы онъ обладалъ калибромъ генія. Съ моральной точки зрѣнія, — замѣтилъ Блэки, — Наполеонъ I жилъ и умеръ убогимъ бѣднякомъ; точно такъ же блескъ величія Байрона былъ, въ сущности, страшнымъ примѣромъ нравственнаго паденія.

Человѣчeskій разумъ имѣетъ свое особенное дѣло. Онъ рассчитываетъ, предвидитъ будущее, онъ даетъ благоразуміе, экономію и вѣрность вычисленій. Разумъ — счетчикъ. Онъ можетъ, — по выраженію г-жи Некеръ де-Соссюръ («Постепенное воспитаніе») — собирать слабыя страсти на борьбу съ сильнѣйшей, но онъ дѣйствуетъ только тѣми чувствами и побужденіями, которыя уже находятся въ душѣ. Онъ можетъ удерживать человѣка отъ жестокаго поступка, вызывая соображенія о страданіяхъ жертвы и о порицаніяхъ общественнаго мнѣнія, но если въ сердцѣ даннаго человѣка нѣтъ способности сочувствовать чужимъ страданіямъ, нѣтъ способности опасаться осужденія, — разумъ совершенно безсиленъ. Убѣждайте личность нравственно и эстетически глухую въ красотѣ природы, въ прелести дружбы, въ пріятности духовныхъ наслажденій, — вашъ голосъ будетъ теряться въ пустынь ея сердца. Въ такихъ именно фактахъ лежитъ незыблемая основа для умозаключеній, которая дѣлаетъ напр., Гердеръ: «Однихъ познаній недостаточно; многіе хорошо образованные, даже ученые люди бывають только помѣхой, въ механизмъ человѣчества. Какая польза въ познаніяхъ-если обладающій ими не чувствуетъ потребности быть честнымъ человѣкомъ? Въ древности возлагали большія упованія на мудрость, но тогда подъ мудростью понималась гармоническая мощь ума и сердца». Развѣ не находимъ мы, среди

поговорокъ старины, изреченіе: *qui proficit in litteris, sed deficit in moribus, plus deficit, quam proficit?* Для добродѣтели не только мало знанія вообще, но и знанія добра. Чтобы это послѣднее принесло достойный плодъ, теоретическое представленіе объ идеалѣ должно перейти въ область хотѣній, стать желаніемъ добра. «Надо учить молодежь, — писалъ Легуве («Отцы и дѣти XIX вѣка»), — не только знать, гдѣ пути правды, но и желать ходить по этимъ путямъ».

Итакъ, вторая задача нравственнаго воспитанія заключается въ томъ, чтобы вызвать въ питомцахъ желаніе осуществить велѣнія идеала. Въ виду этой цѣли, нравственное просвѣщеніе не должно замыкаться въ форму лекцій, адресующихся къ интеллекту, или въ рядъ сентенцій и правилъ, воспринимаемыхъ памятью. Первое слово моральнаго внушенія, т. е. ознакомленіе съ высокимъ образцомъ христіанской жизни, должно идти «*non aristotelico more sed piscatorio*». Мало пользы, если священная книга лежитъ въ драгоценномъ переплетѣ, въ сторонѣ, въ рѣдко посѣщаемомъ, почетномъ углу. Нужно, чтобы свѣтлыя идеи Евангелія западали въ душу просвѣщаемыхъ и оттуда вліяли на ихъ взгляды, убѣжденія и поступки; нужно, чтобы велѣнія христіанскаго долга просачивались въ жизни, проступали въ разныхъ текущихъ дѣлахъ и интересахъ, представляя собою не буквы и обряды, а внутреннюю окраску, примѣсь, озареніе каждой минуты и cadaго дня. Преподаваніе Закона Божія, какъ простаго учебнаго предмета, съ обыкновенными послѣдствіями за невыученный урокъ, не стоитъ на высотѣ своего назначенія. «Какъ только захотимъ мы, — писалъ Ушинскій, — отдѣлать рѣзкою гранью преподаваніе Закона Божія отъ преподаванія другихъ предметовъ (т. е. отнести его въ одинъ опредѣленный уголъ программы), то хотя преподаваніе различныхъ предметовъ и останется, но воспитаніе исчезнетъ». Объясненіе моральныхъ истинъ св. писанія не должно ограничиваться сообщеніемъ извѣстной суммы знаній, но, — какъ говоритъ св. Синодъ въ одной изъ утвержденныхъ имъ программъ, — «обязано заботиться о томъ, чтобы учащійся изъ cadaго урока вынесъ мысль, чувство, стремленіе, способныя служить

ему сѣменемъ жизни нравственно-религіозной». Съ подобнымъ-же мнѣніемъ встрѣчаемся и въ объяснительной запискѣ къ дѣйствующей программѣ для гимназій: «Вообще преподаваніе Закона Божія не должно быть только учебнымъ предметомъ, а развитіемъ основъ христіанской жизни и дѣятельности воспитанниковъ». Въ свѣтъ, къ сожалѣнію, нерѣдко благочестивая теорія и нечестивая практика существуютъ независимо, отдѣленные другъ отъ друга пропастью, но школа обязана устранять отъ себя такую печальную двуличность.

Не составляя, такимъ образомъ, обособленной, изолированной «науки», истинное христіанское просвѣщеніе не сводится и къ простому сборнику нравственныхъ разсказовъ или назидательныхъ придчей. Это просвѣщеніе неизбѣжно опирается на религіозное чувство, представляющее для человѣка надежный оплотъ и свѣтильникъ въ минуты колебанія, живительный духъ мира и постояннаго совершенствованія, добрый геній на пути правды. Вотъ почему извѣстный видъ современнаго христіанства, надѣящагося обойтись безъ Христа, лишаетъ себя могущественнаго воспитательнаго орудія, которое заключается для людей въ постоянномъ чувствованіи себя въ присутствіи Судьи и въ проистекающей отсюда строгой собственной оцѣнкѣ своего прошедшаго и настоящаго передъ всевидящимъ окомъ.

Многіе изъ западныхъ педагоговъ нашего времени желали бы отрѣшить нравственное воспитаніе отъ религіознаго элемента, чтобы не насиловать свободу совѣсти воспитанниковъ и не связывать судьбу морали съ различными превратностями человѣческихъ вѣрованій. Но, ожидая пробужденія въ людяхъ самостоятельныхъ взглядовъ, мы рискуемъ оставить юную душу безъ помощи и заполнить ее плевелами. Бодрильяръ справедливо говоритъ: «Развѣ при внушеніи повиновенія велѣніямъ долга ожидаютъ, когда юноша сравнитъ философскія ученія о высшемъ благѣ, или, развѣ при объясненіи словъ ожидаютъ усвоенія грамматическихъ теорій?» Столь-же напрасны опасенія, чтобы, — какъ выражается Компаре, — «*dans un jour de crise*», не исчезла вмѣстѣ съ религіозностью и нравственность. «Если мистическое вѣрованіе,

на которомъ построено все зданіе обязанностей, — объясняетъ это опасеніе Эскиросъ, — будетъ со временемъ потрясено, то и вся работа воспитанія погибнетъ». Но почему предполагать непременно въ будущемъ такіе кризисы и потрясенія? Они могутъ быть и не быть, воспитаніе-же имѣетъ въ виду правильное и постепенное развитіе человѣка, а не катастрофы, подобно тому, какъ и школа мореплаванія учить, главнымъ образомъ, плавать, а не претерпѣвать крушенія. Сверхъ того, даже въ случаѣ несчастія потери религіознаго чувства, у человѣка можетъ сохраниться кое-что, приобрѣтенное за время пребыванія въ лонѣ вѣры, можетъ уцѣлѣть образовавшаяся въ душѣ благодѣтельная нравственная складка. Не свидѣтельствуетъ-ли объ этомъ Ренанъ, вспоминая въ автобіографіи о первыхъ своихъ наставникахъ, монахахъ: «Отъ нихъ позналъ я безусловную добродѣтель, позналъ, что такое вѣра, и сохранилъ отъ моего дѣтства драгоценнѣйшіе навыки. Жизнь моя и до сихъ поръ управляется вѣрою, хотя я, повидимому, уже утратилъ ее. Вѣра имѣетъ ту особенность, что и утраченная человѣкомъ все-же продолжаетъ дѣйствовать въ немъ». Вообще, чрезмѣрно «резвые» педагоги, въ пугливомъ отношеніи къ «мистицизму», измѣняютъ своему девизу точнаго наблюденія дѣйствительности, ибо это наблюденіе должно бы имъ показать, что понинѣ человечество воспитывалось не иначе, какъ подѣ дѣйствіемъ религіи. Французскія учебныя программы 1882-го и слѣдующихъ годовъ требуютъ, чтобы мораль преподавалась независимо отъ вѣроисповѣданія, чтобы наставники старались воспитывать только «честныхъ людей вообще». Но въ какомъ смыслѣ — честныхъ? Если въ «общевропейскомъ», то это значитъ въ христіанскомъ смыслѣ, потому что вся нравственная атмосфера нынѣшней Европы создана Евангеліемъ. Къ чему-же въ такомъ случаѣ прибѣгать къ фальшивой хитрости и, пользуясь твореніемъ, умалчивать объ имени творца? Къ чему старанія построить школьную мораль на столь чудовищномъ «плагиатѣ».

Сказанное о религіозномъ просвѣщеніи можетъ быть примѣнено и къ общимъ приемамъ нравственнаго воспитанія.

Преподаваніе морали въ видѣ учебнаго предмета, на ряду съ другими, — по единодушному мнѣнію Рошера («L'éducation de nos fils», 1890 г.), П. Жанэ, Компэре, Маріона и др., — не даетъ еще особенной пользы. Такое, чисто теоретическое воспитаніе разсыпается въ длинный рядъ трудныхъ фразъ, которыя нужно усвоить къ экзамену; воспитанникъ при этомъ остается далекъ отъ мысли, чтобы согласовать свои поступки съ параграфами изучаемой науки. Этическія доктрины, сентенціи и афоризмы идутъ здѣсь главнымъ образомъ на украшеніе ума и рѣчи. Истиннымъ и полнымъ преподаваніемъ морали можетъ быть названо только то, которое соединяется со всѣмъ преподаваніемъ, съ чтеніемъ и письмомъ, съ играми и рекреациями, съ каждымъ шагомъ и часомъ школьной жизни, и обращаетъ учебное заведеніе, все цѣликомъ, въ школу нравственности. Становясь на такую точку зрѣнія, педагогъ Ресаутъ рекомендуетъ, между прочимъ, директорамъ и воспитателямъ устраивать бесѣды съ воспитанниками, гдѣ происходило-бы совмѣстное обсужденіе школьной жизни за недѣлю, съ оцѣнкой случившихся проявленій добра и зла, съ чтеніемъ, способнымъ затронуть сердце, съ откровенными совѣтами и объясненіями относительно недоумѣній, могущихъ угнетать неопытную душу. Мы не будемъ останавливаться на подобныхъ детальныхъ мѣрахъ педагогіи, но укажемъ на кардинальное, главнѣйшее условіе успѣшности хода дѣла, именно на то, чтобы школа представляла собою единое нераздѣльное цѣлое, а не распадалась на двѣ части, на два лагеря — воспитывающихъ и воспитываемыхъ.

Воспитанники не матеріаль въ рукахъ воспитателей, они не мраморъ въ рукахъ скульптора. Воспитанники не слуги и не исполнители предначертаній воспитателей. Надъ тѣми и другими есть одинъ высшій, общій господинъ, — идеаль доброй жизни; тѣ и другіе суть старшіе и младшіе сотрудники въ великомъ дѣлѣ созиданія нравственной красоты человеческого существованія. Когда питомцы школы сводятся до значенія матеріала, надъ которымъ оперируютъ педагоги, тогда школьная жизнь приходитъ роковымъ образомъ къ раздѣленію на два враждующихъ лагеря, и въ ней начинается

безопасная, скрытая война. Молодое самолюбие оскорбляется, чувствуя себя лишь мертвым объектом чужой работы, и вооружается всею силою сопротивления. Замѣчая, что все хорошее въ его поступкахъ кто-то другой приписываетъ себѣ, воспитанникъ получаетъ отвращеніе къ этому хорошему и видитъ въ немъ одно унижительное проявленіе своего безсилія, своей рабской уступчивости. Онъ начинаетъ ненавидѣть нравственныя правила, какъ набрасываемыя на него откуда-то со стороны арканы, онъ злобно критикуетъ своихъ воспитателей и оканчиваетъ безопаснымъ презрѣніемъ къ нимъ. Въ это-же самое время, въ другомъ «лагерѣ», все болѣе и болѣе укрѣпляется самодовольная замкнутость. «Man muss sich mit den Jungen nicht gemein machen», говорятъ педагоги, — и гибельная рознь между руководящими и руководимыми разрастается въ бездну. Самолюбованіе воспитателей наводитъ на нихъ близорукость, позволяющую имъ видѣть лишь внѣшнія, грубыя очертанія окружающаго и только наружныя, показныя контуры личностей питомцевъ. Педагогія падаетъ со ступеньки на ступеньку въ область внѣшней обрядности, наружной тишины и доброподобія. И вотъ передъ нами чреватый бѣдами очагъ лицемѣрія и лжи.

Гдѣ водворяется ложь, тамъ нужно оставить все благія ожиданія, нужно разстаться со скольконибудь спокойной увѣренностью въ человѣка. Лжець — ходячая тайна, загадочный сфинксъ, смотря на который мы постоянно ожидаемъ въ ужасѣ, что вдругъ распадется завѣса, скрывающая его внутренній міръ, и передъ нами раскроется уголокъ моральнаго ада, исполненнаго злѣ, созрѣвшихъ подъ защитой скрытности и притворства. Есть мнѣнія, выставлющія лицемѣріе нѣкоторымъ свидѣтельствомъ уваженія, которое пороки оказываютъ добродѣтели. Но уже Руссо справедливо возставалъ противъ этого взгляда, говоря: «Скажутъ-ли о ворѣ, одѣвающимъ ливрею какого-нибудь дома, съ цѣлью вѣрнѣе исполнить свое намѣреніе, что онъ оказываетъ этимъ уваженіе хозяину обкрадываемаго дома? Въ лицемѣрїи не уваженіе, а оскорбленіе добродѣтели, ея профанация, прибавка къ пороку еще низости обмана, наконецъ, полное отрѣзыва-

ніе путей возврата къ честности». Не надо смѣшивать, какъ это дѣлалъ по ошибкѣ Пироговъ, лицемѣріе съ желаніемъ человѣка «казаться» лучшимъ, чѣмъ онъ есть. Стремленіе казаться лучшимъ можетъ лежать въ основѣ дѣйствительнаго улучшенія. Все люди играютъ въ жизни какую-нибудь роль; свойства этой роли опредѣляются образцомъ, которому человѣкъ подражаетъ и по которому отливаетъ свою личность. Въ такомъ смыслѣ можно сказать, что все мы постоянно вращаемся въ непрерывномъ маскарадѣ, въ мірѣ кажущагося, идеальнаго. Мы играемъ «піесу» жизни, которая не то, что есть, а въ значительной степени только то, что должно быть. Это не дѣйствительность, но и не ложь; отсюда грозитъ не перспектива нравственнаго тлѣнія, а возможность совершенствованія. Было-бы плохо если бы всякій тонулъ въ наличной дѣйствительности и не желалъ показаться въ люди въ праздничномъ нравственномъ нарядѣ, съ которымъ связана мысль объ образцовомъ исполненіи жизненной роли. Но лицемѣріе совсѣмъ не то; здѣсь добродѣтель не щегольской нарядъ, надѣваемый съ благоговѣніемъ, а фальшивая монета, пускаемая въ ходъ для эксплуатированія довѣрчивыхъ людей и для насыщенія, съ тайнымъ, циническимъ смѣхомъ, аппетита эгоизма. Между добродѣтелью истинной и лицемѣрной нѣтъ ничего общаго, потому что въ первой мы имѣемъ причину благородныхъ поступковъ, а во второй — укрывательство пороковъ.

Питомцы упомянутой выше раздвоенной школы приспособляются къ внѣшнимъ предписаніямъ ослѣпшихъ въ самодовольствѣ педагоговъ, и привыкаютъ считать велѣнія морали досадной платой, которой покупается возможность произвола. Здѣсь нравственныя заповѣди становятся отвлеченными формулами, совершенно оторванными отъ жизни, которая рисуется въ видѣ клубка переплетенныхъ интересовъ, гдѣ человѣку надо съумѣть найти удобный и выгодный *modus vivendi*. За ширмами внѣшне-обрядной добродѣтели, воспитанникъ, въ тихомолку и въ нравственно безпомощномъ одиночествѣ, взлелѣиваетъ въ себѣ нелѣпыя сужденія, дикое отношеніе къ чужимъ интересамъ, животное и наглое

обожествленіе собственнаго «я», которое и гибнетъ, въ концѣ концовъ, въ безсмысленной погонѣ за наслажденіями, — легкими, близорукими и низкими.

Вотъ почему, мы повторяемъ. нравственное просвѣщеніе должно быть общимъ дѣломъ учащихся и учащихся, общимъ, дружнымъ стремленіемъ къ добру, общей, соединенной работой осуществленія идеала. Въ этомъ непрерывномъ, ежечасномъ, горячемъ движеніи впередъ, воспитатели составляютъ авангардъ. Они идутъ впереди, показывая дорогу, обнаруживая живую радость, при успѣшности совмѣстнаго труда, и искренно скорбя или честно негодуя, когда случается задержка въ дорогѣ, вслѣдствіе ли слабости, лѣности или неразумія кого-нибудь изъ сотрудниковъ. Вожди юной арміи отражаютъ въ своей жизни свѣтъ евангельскихъ, національныхъ и профессиональныхъ идеаловъ и даютъ собою руководящій примѣръ. А важность примѣра составляетъ съ давнихъ поръ общепризнанную истину: «longum iter est per graeseptra, — говорилъ Сенека, — breve et efficax per exempla». Видъ человѣка, дѣлающаго съ радостью какое-нибудь дѣло, вызываетъ на подражаніе; примѣръ энергической стойкости въ убѣжденіяхъ, постоянная вѣрность слова и дѣла, не могутъ не быть заразительными. Дѣйствующіе такъ воспитатели втягиваютъ въ работу и своихъ питомцевъ, которые съ восторгомъ чувствуютъ, что здѣсь дѣло идетъ не о педагогическихъ экспериментахъ, а о священной, жизненной цѣли, о водвореніи царства добра на землѣ, объ устроеніи хорошей жизни. Эта важная работа, естественно, задѣваетъ участниковъ за живое и поселяетъ въ нихъ сердечный трепетъ энтузіазма къ лучшему и должному, безъ каковаго энтузіазма, по вѣрному заключенію Пирогова, нѣтъ благотворной готовности къ самопожертвованію, а можетъ быть лишь «искательство сильныхъ ощущеній». Чувствуя себя сотрудниками важнаго дѣла, воспитанники видятъ въ себѣ не глину педагогической лѣпки и не стадо пасомыхъ животныхъ, а людей, съ извѣстной долей самостоятельности и, слѣдовательно, ответственности. Барщина здѣсь смѣняется вольнымъ трудомъ.

Само собою разумѣется, что такое чистое дѣло должно совершаться чистыми руками; оттого истинная педагогія стоитъ непоколебимо на принципѣ: «правда — лучшая политика». Воспитатели, желающіе съ успѣхомъ звать питомцевъ на путь совмѣстнаго совершенствованія, не имѣютъ нужды прибѣгать къ обманному скриванію своихъ личныхъ слабостей; напротивъ, искренное сознаніе и сѣтованіе о собственныхъ ошибкахъ служитъ вѣрнымъ залогомъ крѣпкой солидарности и серьезности въ общей работѣ учащихся и учащихся. Вообще, воздухъ школы долженъ быть проникнутъ самой чистой и прозрачной искренностью. Напрасно нѣкоторые педагоги совѣтуютъ лукавства, оправдываемыя благою цѣлью, и различныя благонамѣренныя ухищренія. Совершенно не вѣрно утвержденіе Эскироса, будто «надо искусственно ставить воспитанника въ такое положеніе, чтобы тотъ или другой образъ дѣйствія былъ ему необходимъ». Всѣмъ ультрарасчетливымъ девизамъ, въ родѣ: «цѣль оправдываетъ средства», «не обманешь не продашь» и пр., нѣтъ мѣста въ школѣ; они не гармонируютъ съ назначеніемъ расадника нравственной чистоты и угрожаютъ ввести въ школу гибельное раздвоеніе, о которомъ сказано выше. Не надо распатывать то, что желаемъ укрѣпить. Часто напр., начальство учебнаго заведенія обращается къ классу съ требованіемъ выдачи виновника въ какой-нибудь шалости, но не значитъ-ли это поставлять неокрѣпшую мораль въ тяжелое и шаткое положеніе между ложью и доносомъ? Мы слышали объ одномъ педагогѣ, который принесъ въ классъ свое портмоне и спрашивалъ у всѣхъ, не потеряны-ли кѣмъ пибудь изъ дѣтей деньги. Онъ этимъ способомъ искушалъ слабые нравственные фибры своихъ питомцевъ, онъ разставлялъ имъ западню, не понимая, что его хитрость сама способна навести на грѣховную мысль и загрязнить ту атмосферу, которую необходимо свято охранять отъ всякихъ міазмовъ житейскаго болота. Откровенное слово приказа и откровенная строгость взыскаія неизмѣримо выше такихъ ухищреній и дипломатическихъ подвоховъ. Но, разумѣется, такая откровенная правдивость дѣйствій педагога должна лежать въ надлежащихъ рамкахъ, обусловливаемыхъ

тактомъ, осмотрительностью, снисходительностью и постояннымъ памятованіемъ, что въ школѣ передъ нами юныя существа, «неловкіе новички въ жизни», по выраженію Гюйо («Воспитаніе и наслѣдственность», 1891 г.). Этихъ новичковъ не трудно смутить и запугать, потому что и безъ того, каждое слово ихъ въ присутствіи старшихъ, каждый жестъ, требуетъ съ ихъ стороны большаго мужества. X

Нравственное воспитаніе, какъ вовлеченіе питомцевъ въ дѣло служенія идеалу, должно дѣйствовать соблазномъ прелести этого служенія, а не какими-либо побочными средствами, приманками и соображеніями. «Не на пользу добра нужно указывать, — замѣчаетъ Гюйо, — а на его красоту, которая способна сама по себѣ доставить наслажденіе». И это великая правда. Не трудно понять непроходимую топь недоразумѣній, проистекающихъ изъ утилитарныхъ вычисленій, предлагаемыхъ, напр., Эскиросомъ, въ его педагогическомъ рецептѣ: «слѣдуетъ убѣждать воспитанника, что данный поступокъ не потому хорошъ или дуренъ, что онъ намъ кажется такимъ, но потому, что онъ можетъ быть полезенъ или вреденъ для другихъ и для самого воспитанника». Стоитъ только сдѣлать шагъ по пути такого вычисленія послѣдствій какого-нибудь человѣческаго дѣйствія, чтобы очутиться въ темномъ мракѣ непреодолимыхъ трудностей. Явленія человѣческаго міра существуютъ и смѣняются въ такой перепутанности тенденцій, причинъ и слѣдствій, что нѣтъ возможности рассчитывать на точность въ названныхъ вычисленіяхъ. Это дѣло не подъ силу философамъ и обществовѣдамъ, не только узкому кругозору ребенка или тѣсной опытности юноши. Если же вычисленіе не можетъ быть точнымъ, значитъ оно поверхностно, гадательно; значитъ оно способно служить лишь предлогомъ для произвольныхъ заключеній, для безконечныхъ споровъ, для выработки резонерства и пустословія. Многоли пользы въ вычисленіяхъ и доказываніяхъ великолѣпія морскаго прибора, поэтичности соловьиной трели или красоты блеска драгоценныхъ камней? Здѣсь путь разсужденій легко можетъ привести (какъ это и случилось въ упомянутой уже разъ комической статьѣ журнала «Вопросы философіи и

психологіи») къ нелѣпымъ разглагольствованіямъ, будто пѣвіе соловья намъ нравится, а мяуканіе кота на крышѣ не нравится, потому что въ первомъ выступаетъ «объективная идея любви», а во второмъ «невладѣющій собою физиологическій аффектъ»; будто алмазъ красивъ потому, что въ немъ «свѣтлая сила одолѣла темныя стихіи природы»... Таже самая опасность произвольнаго пустословія грозитъ и нравственнымъ вычисленіемъ. Если, напр., въ насъ воспитана восприимчивость къ моральной красотѣ, то мы прекрасно поймемъ этическую прелесть евангельской вдовицы съ ея лептой. Но разъ дѣло доходитъ до разсужденій и доказательствъ, — разнорѣчіе и путаница аргументовъ неизбежны: одинъ критикъ отзовется, что мелкая монета, затерянная въ крупныхъ жертвахъ фарисеевъ, не дастъ ощутительныхъ результатовъ, другой критикъ рѣшитъ, что вдова лучше бы сберегла свою лепту для своихъ дѣтей, третій скажетъ, что полезнѣе отдать деньги нищимъ, какъ это замѣтилъ о маслѣ Маріи Магдалины Іуда, «потому что онъ былъ воръ», по евангельскимъ словамъ. И во всѣхъ этихъ соображеніяхъ pro и contra растаетъ моральный образъ чудной красоты.

Уже Руссо замѣтилъ, что начиная съ ребенкомъ разсужденія о выгодахъ того или другаго поступка, надо быть готовымъ, что нашъ собесѣдникъ выведетъ заключеніе, противоположное тому, какое намъ желательно. Въ то время, — говоритъ Руссо, — какъ мы рассказываемъ юному собесѣднику, напр., басню о львѣ и комарѣ, съ тайной мыслью внушить ему презрѣніе къ грубой силѣ, онъ учится убивать современнымъ жаломъ тѣхъ, на кого не посмѣетъ нападать съ кулаками. «Занятые тѣмъ, — читаемъ въ «Эмилѣ», — что дѣлается въ вашей головѣ, вы не видите дѣйствія, которое производите на голову воспитанника. А онъ между тѣмъ все смѣшиваетъ, все опрокидываетъ и озадачиваетъ васъ непредвидѣнными выводами и возраженіями. Если онъ хоть разъ останется побѣдителемъ въ спорѣ, то прощай воспитаніе: все кончено съ этой минуты, онъ уже не будетъ учиться, а будетъ только стараться опровергать васъ». И Руссо тутъ-же рѣзко замѣчаетъ: «Я ничего не знаю глубѣе ребенка, съ

которымъ много разсуждали». Система утилитарныхъ вычисленийъ есть истинный питомникъ резонеровъ и «молодыхъ гениевъ», весь умъ и вся нравственность которыхъ сосредоточены въ языкѣ.

Изъ наивной «Исповѣди» г-жи Конради можно добыть нѣсколько яркихъ примѣровъ. Въ блаженномъ самообольщеніи, эта воспитательница описываетъ результаты своей разговорно педагогической методы. Часто дѣти, — говоритъ г-жа Конради, — въ отвѣтъ на предложеніе идти спать, отвѣчали: «Подожди, я думаю!...» Въ восторгѣ отъ такого глубокомыслія своихъ юныхъ философовъ, г-жа Конради передаетъ ихъ разсужденія. Вотъ, напр., слова десятилѣтней дѣвочки: «Чего бы я не дала, чтобы все знать, все! Я бы согласилась всю жизнь мучиться, пускай-бы я вѣкъ была прикована къ скалѣ, какъ Прометей, пускай-бы коршунъ терзалъ-бы мнѣ сердце, только бы мнѣ знать... Да что! Прометею было хорошо: онъ у боговъ огонь похитилъ, а эти греческіе боги были совсѣмъ какъ люди. Съ ними все-таки можно было тягаться, а тутъ — природа, что съ ней подѣлаешь?» Не будемъ останавливаться на страшномъ смыслѣ этихъ словъ, изъ которыхъ видно, къ чему приводитъ воспитаніе, избѣгающее «мистическихъ» внушеній: передъ человѣкомъ «одна природа» — механизмъ чудовишныхъ размѣровъ, мертвый и нѣмой на всѣ запросы ума и сердца. Перейдемъ къ «философіи» другаго питомца г-жи Конради, одиннадцатилѣтняго мальчика: «Сколько вѣковъ прошло, сколько великихъ людей работало, и какъ мало мы узнали! Знаешь ли, самъ я себя кажусь такимъ маленькимъ, ничтожнымъ, среди всего остальнаго міра, среди всей природы, и такъ мнѣ тошно дѣлается отъ этого, что, кажется просто бы бросился въ кипятокъ!» Таковы послѣдствія неумѣстныхъ и безтактныхъ воспитательныхъ разсужденій. Описанныя дѣти (принимая описаніе за правду) являются какъ-бы уже готовыми представителями современной интеллигенціи, вѣрящими только въ механическую силу природы, «съ которой ничего не подѣлаешь»; это готовые пессимисты, которымъ остается вяло бродить подъ гнетомъ скептицизма, насыщая свои «естественныя потреб-

ности», разсѣивая «скуку жизни» погоней за удовольствіями, или спасаясь отъ тяжести бытія самоубійствомъ. Когда названная система не создаетъ подобныхъ психопатовъ, она творитъ не менѣе ужасныхъ самодовольныхъ болтуновъ, отвратительныя свойства которыхъ дѣлаютъ понятной горечь восклицанія Гердера: «Сказать-ли, какое изъ всѣхъ выраженій фізіономіи для меня самое невыносимое? То выраженіе самодовольной наглости, которое называютъ мѣднымъ лбомъ. Если когда нибудь мнѣ удастся вымолить уголокъ неба, то да будетъ это такой уголокъ, въ которомъ я не встрѣчу ни одного безстыжаго, ни одного мѣднаго лба».

II.

Чистое дѣло воспитанія допускаетъ только чистыя средства; вотъ почему едва-ли можно относиться сочувственно къ пользованію въ школахъ орудіемъ такъ называемаго соревнованія. Правда, его употребляютъ издавна и почти повсемѣстно; оно такъ крѣпко засѣло въ жизненной практикѣ, что съ нимъ мирятся даже тѣ, которымъ не симпатична его сущность (ср. напр. Сѣлли, «Основныя начала психологіи и ея примѣненія къ воспитанію»). Большинство-же французскихъ педагоговъ прямо беретъ соревнованіе подъ свою защиту, говоря, будто въ немъ «таится вѣяніе любви къ усовершенствованію», и будто «человѣкъ, желая превзойти конкурентовъ, въ то же время движется къ добру». Нельзя не видѣть въ подобныхъ пристрастныхъ взглядахъ лишь отраженіе французскихъ національныхъ свойствъ. Въ основѣ соревнованія несомнѣнно лежитъ страстное, всепожирающее желаніе побѣдить соперниковъ. Въ этой борьбѣ существо дѣла отходитъ въ сторону, на первое-же мѣсто выдвигается успѣхъ и мѣриломъ каждаго поступка становится именно степень успѣха, а не внутреннее достоинство нашего дѣйствія, не соотвѣтствіе его нравственнымъ цѣлямъ. Достиженіе добра здѣсь только арена битвы, на которой сердца воюющихъ пламенѣютъ надеждой выйти побѣдителями, всѣми средствами, во что бы то ни ста-

ло. Если устранить отсюда соблазнъ триумфа и похвалъ, то съ этимъ вмѣстѣ тотчасъ же погаснетъ энергія конкурентовъ, наступитъ апатія, и пустынное поле ихъ души откроется для сорныхъ травъ. Соревнованіе въ нравственномъ воспитаніи замѣняетъ велѣнія долга побочными соображеніями и обращаетъ добродѣтель изъ цѣли въ средство. Соперничество вноситъ съ собою разлагающія, антисоціальныя чувства, ибо торжество надъ конкурентомъ ведетъ къ презрительному чванству, подъ болью-же пораженія скрывается зародышъ ненависти. Школьное соперничество образуетъ въ характерѣ воспитанника неизгладимую черту на всю жизнь; оно до старости сказывается въ человѣкѣ жадностью къ отличіямъ, погоней за первыми мѣстами, недовольствомъ скромной жизненной долей.

Изъ лона соревнованія выходятъ личности, которыя могутъ быть иногда и героями, но только въ надеждѣ на похвалу, на славу, вообще за плату. Это не люди чести и идеи, а въковѣчные поденщики, рабы толпы, слуги среды, люди на спрость, готовые идти на приманку куда угодно. Ихъ гложетъ одно желаніе—быть виднѣе и выше другихъ; и дѣйствительно, ихъ можно видѣть на верху всякой общественной волны, часто самой мутной и грязной, какова, напр., преступная накипь современного анархизма. Часто также можно наблюдать, какъ они, въ роли благочестивыхъ богомольцевъ, благодотворителей или патриотовъ, стараются оттѣснить и уничтожить соперниковъ, точно людямъ можетъ быть тѣсно любоваться яркимъ солнцемъ правды и добра. Но кумиръ тщеславія, которому служатъ герои конкуренціи, платитъ имъ жестокою неблагодарностью. Руссо въ «Новой Элоизѣ» замѣтилъ: «Если когда-нибудь тщеславіе сдѣлало человѣка счастливымъ, то навѣрно этотъ счастливецъ былъ не болѣе какъ глупецъ». И въ самомъ дѣлѣ, только курьезный самообманъ и ослѣпленіе скрываютъ отъ такого человѣка грустную истину. Когда онъ важно шествуетъ между людьми, съ утрированнымъ видомъ солидности, съ головой до боли закинутой назадъ, со взоромъ, скользящимъ мимо и выше всего и всѣхъ, тогда лишь себѣ одному онъ кажется Юпитеромъ. На посто-

ронній-же взглядъ, онъ просто гладиаторъ и скоморохъ, дающій даровое представленіе толпѣ зѣвакъ... Въ силу сказаннаго, мы не можемъ считать конкуренцію допустимой въ жизнь учебныхъ заведеній. Хотя бы соперничество и было способно обуславливать тамъ какія-либо успѣхи,—эти успѣхи, по вѣрному выраженію миссъ Эджвортъ, всегда получаютъ дорогою цѣною зложелательныхъ наклонностей, а слѣдовательно, подрываютъ въ корнѣ основы моральнаго просвѣщенія. Не можемъ не отмѣтить тутъ-же, что нашъ дѣйствующій уставъ гимназій мудро обходитъ данайскіе дары соревнованія.

Такъ какъ забота нравственнаго воспитанія заключается въ привлеченіи питомцевъ къ дружному и энергическому стремленію къ красотѣ идеала, то отсюда ясно, какимъ характеромъ долженъ быть проникнуть режимъ учебныхъ заведеній. Ясно, что здѣсь необходимы привлекательныя приемы, а не отталкивающіе, свѣтлый и радостный духъ, а не унылый и мрачный. Не напрасно говорилъ Локкъ («Мысли о воспитаніи»), что великая тайна воспитанія состоитъ въ томъ, чтобы сохранить духъ воспитывающихся легкимъ, дѣятельнымъ, неудрученнымъ. Въ сіяющую огнями пиршественную залу не входятъ черезъ сѣрое и темное подземелье; точно такъ-же, въ лучезарныя сферы нравственнаго идеала не должно вводить чрезъ безотрадныя ворота дантовскаго ада. Есть-ли смыслъ, задаваясь цѣлью раскрыть сердца молодежи для любви къ отечеству, къ ближнимъ, къ человѣчеству, ко всему живому на землѣ, обращать къ ней наше лицо, окаменѣлое въ суровости, или являть ей, въ особѣ воспитателя, примѣръ бездушнаго, бюрократическаго или инаго подобнаго величія? Бодрый и веселый духъ человѣка гораздо способнѣе къ великодушнымъ движеніямъ, чѣмъ растерянная, печальная угнетенность. Извѣстный нѣмецкій педагогъ Нимейеръ справедливо замѣтилъ: «Bei einem frohem Sinne kommt jedes Gute leichter und kräftiger, als das Böse in Kindern empor». Вотъ почему крайне желательно исчезновеніе изъ жизненнаго обихода типичной фигуры педагога, мрачно нахмуреннаго, съ «генеральскими» интонаціями въ голосѣ и съ мертвен-

нымъ безучастіемъ взора. Гдѣ и когда подобныя личности оказывались въ силахъ вліять на людей, будить ихъ энергію и вести на приступъ какихъ либо трудностей? Годятся-ли эти ни къ чему не пригодныя фигуры въ полководцы юной рати, идущей на завоеваніе обѣтованной земли моральнаго совершенства? Для живаго дѣла необходимы живые люди, способные зорко видѣть, энергически дѣйствовать и горячо любить.

Тоже должно сказать и объ общемъ духѣ учебныхъ заведеній. Не надо рыться въ произведеніяхъ Диккенса, чтобы воспроизвести въ воображеніи желтыя или сѣрыя зданія «казеннаго» рисунка, исполненныя какой-то пустынной вымороченности и раздѣленныя на безжизненно-геометрическіе квадраты классовъ, съ аскетическою мебелью и унылыми черными досками. Нельзя сравнить эти зданія съ казармами, потому что казарма все-таки живетъ, въ ней чувствуется біеніе пульса своеобразной жизни; нельзя уподобить ихъ и монастырю, такъ какъ монастырской тишинѣ придаютъ опредѣленный аромат струи благовонія, поднимающіеся отъ кадилницъ въ высь церковныхъ сводовъ. Школьныя-же зданія описываемаго типа поражаютъ уныніемъ, лишеннымъ всякаго цвѣта и содержанія. Объ одномъ лишь говорятъ ихъ голыя стѣны, что жизнь среди нихъ рассчитана на крѣпкое здоровье, на тугіе нервы и выносливыя умственные силы, что ослабѣвшіе здѣсь не найдутъ себѣ пощады и что на запросы сомнѣній, колебанія и недоумѣнія тутъ никто не отвѣтитъ. Учебныя заведенія, — мы говоримъ о разсматриваемомъ ихъ разрядѣ, — считаютъ своей обязанностью только учить, но не воспитывать, предлагать такую или иную пищу уму воспитанниковъ, не обращая вниманія на голодъ ихъ сердца и на жажду ихъ души. Невольно вспоминается сказанное Спенсеромъ въ его книгѣ «О воспитаніи»: «Въ школѣ готовится не самъ человѣкъ для жизни, а лишь аттестатъ. Учебныя заведенія гораздо болѣе заняты учебниками, программами, экзаменами, баллами и прочими внѣшними атрибутами ученія, нежели самимъ ученикомъ. Оттого такъ мало людей при такомъ множествѣ аттестатовъ и оттого такъ рав-

нодушно общество къ школѣ, съ ея бесплодной книжной ученостью, обладатели которой предъявляютъ какія-то права на удобства и преимущества въ жизни».

Понимая подъ нравственнымъ воспитаніемъ «бодрое и радостное» шествіе въ гору усовершенствованія, мы не говоримъ, однако-же, будто это шествіе должно быть во что бы то ни стало «легкимъ». Мы далеки отъ признанія возможности обращать трудъ просвѣщенія въ забаву. Не игра составляетъ желательную школу подготовленія людей къ жизни, потому что жизнь не есть забава. «Не представляйте ее учащимся въ видѣ игры въ мячъ, — говоритъ Гюйо, — это значило-бы деморализировать ихъ и дать обществу большихъ ребятъ, вмѣсто взрослыхъ людей. Тотъ, кто умѣетъ только играть и смотреть на все съ точки зрѣнія удовольствія, есть ничто иное, какъ лѣнивый эгоистъ». Вотъ почему стремленіе нѣкоторыхъ педагоговъ положить въ основу воспитанія его исключительную легкость и необременительность нельзя не назвать предосудительнымъ увлеченіемъ. Причина такого увлеченія лежитъ въ проникающемъ нашу современность сентиментальномъ преклоненіи предъ дѣтскимъ и юношескимъ возрастомъ человѣка. Ребенокъ съ этой точки зрѣнія рисуется чѣмъ-то въ родѣ ангела, оставившаго свои крылья въ раю, а юноша окружается ореоломъ чистѣйшаго благородства. Подъ вліяніемъ этихъ крайнихъ воззрѣній, смѣнившихъ собою крайность старинной суровости, въ наши дни явились модныя теченія, произведшія много путаницы и въ семейныхъ отношеніяхъ и въ педагогическихъ приемахъ.

Едва-ли кто изобразилъ курьезы названной моды живѣе, чѣмъ Легуве въ соч. «Отцы и дѣти XIX вѣка». Съ добродушнымъ юморомъ называетъ онъ нынѣшнее юное поколѣніе не иначе, какъ «господа дѣти, господа молодежь». Указывая на плоды сентиментализма и ложно понятой гуманности, онъ съ грустью описываетъ трехлѣтнія существа, разслабленныя баловствомъ, семилѣтнихъ умниковъ и эгоистовъ, прихотливо хозяйничающихъ въ родительскомъ домѣ, двѣнадцатилѣтнихъ школьниковъ съ папирсами въ зубахъ, семнадцатилѣтнихъ молодыхъ людей, которые спорятъ съ отцами и находятъ ихъ

отсталыми, восемнадцатилѣтнихъ ученыхъ, рѣшающихъ рѣзко всѣ вопросы политики и метафизики, наконецъ, двадцатилѣтнихъ лѣнтуевъ, которые расточаютъ не ими собранное. Легче вводить насъ въ семейства, гдѣ превратная гуманность родителей погружаетъ дѣтей въ растлѣвающую атмосферу своеволия, причемъ малѣйшее противорѣчіе юному члену семьи вызываетъ въ немъ раздраженіе, упорное дутье и холодность къ старшимъ. Неумѣстная фамиллярность и безцеремонность отношеній между родителями и дѣтьми здѣсь переходитъ въ споры между ними и въ неуважительность послѣднихъ къ первымъ; тонъ равенства смѣняется тутъ презрительнымъ тономъ, сынъ сбрасываетъ съ себя опеку отца, остается безъ руководства, безъ узды, и вырастаетъ молодымъ животнымъ. Такимъ путемъ слащавая, близорукая любовь, заступающая мѣсто авторитета, приводитъ семью къ разложенію. Мы не стали отдѣлять отъ себя дѣтей какъ прежде, мы ввели ихъ въ центръ нашей жизни, вслѣдствіе чего они видятъ насъ во всякомъ положеніи, видятъ насъ со всѣми слабостями, видятъ насъ раздраженными, лгунами, тщеславными, смѣшными, они дѣлаютъ насъ предметомъ насмѣшки и критики, той дѣтской критики, которая ничего не въ силахъ понять, а потому ничего не можетъ простить, поставить на надлежащее мѣсто и въ должную обстановку. Мы отказались, изъ фальшивой скромности, быть ихъ руководителями и они сдѣлали насъ объектомъ скептическаго наблюденія изъ каждаго угла нашей комнаты.

Не требуется особенныхъ напряженій ума, чтобы понять неудобства такой воспитательной методы. Уже мыслитель древности (Платонъ) прекрасно описывалъ ея дурные результаты: «Наставникъ, — говорилъ онъ, — боится тутъ своихъ учениковъ и лѣститъ имъ, ученики презираютъ своихъ учителей и насмѣхаются надъ ихъ властью; молодые люди хотятъ идти рядомъ съ стариками, а старики поддѣлываются подъ тонъ юношества и, чтобы не имѣть деспотическаго вида, стараются подражать легкомыслию молодежи». Опытъ нашей современности даетъ не мало относящихся сюда примѣровъ. Всѣмъ памятна идея и приемы, о которыхъ, какъ мы видѣ-

ли, съ наивнымъ восторгомъ вспоминаетъ г-жа Водовозова; согласно этимъ идеямъ, родители уступали лучшія комнаты дѣтямъ, сами тѣсясь гдѣ придется, наставники ничего не приказывали своимъ питомцамъ, а уговаривали ихъ, и пр. Основываясь на восклицаніи Руссо: «что за пагубная страсть заноситься въ будущее, котораго такъ рѣдко достигаютъ, и пренебрегать настоящимъ, которое вѣрно!» — модные педагоги взяли подъ свою близорукую защиту дѣтскій и юношескій возрастъ. Этотъ возрастъ, говорили они, занимаетъ не малую часть жизни человѣка и не долженъ приноситься въ жертву будущему, которое наступитъ-ли еще, и во всякомъ случаѣ неизвѣстно, что принесетъ съ собою. Они теряли изъ виду, что предусмотрительность и извѣстное пожертвованіе настоящимъ будущему составляютъ основное свойство, безъ котораго человѣкъ уподобился бы безпечному животному и не могъ-бы рассчитывать ни на какія блага культуры. Всякая эпоха жизни, кромѣ своей самостоятельной цѣнности, имѣетъ еще значеніе приготовления къ слѣдующей, какъ время сѣва родитъ время жатвы. Дѣтскій возрастъ долженъ быть весь проникнутъ этой собственно-человѣческой мыслью; быть можетъ, дѣйствительно, многимъ не суждено дожидаться взрослой будущности, но таковъ уже удѣлъ человѣка: всѣ погибаютъ на пути стремленія впередъ, среди заботъ о завтрашнемъ днѣ, и эта печальная внезапность все-таки гораздо лучше позорной роли стрекозы въ житейски-суровомъ разговорѣ съ муравьемъ.

Сентиментальная педагогія, избѣгая деспотизма и впадая въ утрированную мнительность, обращаетъ нравственное руководство въ заискивающее упрашиваніе. Ложь этой методы приноситъ достойные ея плоды. Видя упрашиванія, воспитанникъ получаетъ мысль о будто-бы принадлежащемъ ему правѣ не соглашаться; когда-же, затѣмъ, воспитательставляется обстоятельствами въ необходимость прибѣгнуть къ своей власти, его питомцы чувствуютъ въ этомъ какъ-бы предательство или измѣну. Отсюда логически вытекаетъ азартное сопротивленіе и самыя дурныя взаимныя отношенія: обѣ стороны хитрятъ, лицемѣрятъ, лукаво ведутъ свою линію,

соблюдая внѣшнюю оболочку мира. Но дѣло оканчивается обоюднымъ раздраженіемъ и взрывомъ, причемъ воспитанникъ часто доволенъ, что наставникъ сбрасываетъ маску и является тираномъ, вслѣдствіе своего неумѣнія быть воспитателемъ. Одинъ учитель, оскорбленный кѣмъ-то изъ учениковъ на первомъ своемъ урокѣ, обратился къ классу съ рѣчью: «Я не хочу знать виновника этого оскорбленія. Богъ съ нимъ! Пускай его судить его собственная совѣсть. Для меня тѣмъ болѣе непонятенъ поступокъ моего оскорбителя, что онъ не знаетъ меня, да и не можетъ знать, какой я учитель и человекъ. Можетъ быть я буду стоять вашей любви. Поживите сначала со мною, а потомъ и судите (Педагогическій Сборникъ, 1887 г.)». Эта готовность наставника стать въ положеніе подсудимаго, — весьма ложный пріемъ, ибо въ основѣ его лежитъ фальшивое предположеніе, будто дѣти въ состояніи быть судьями въ сложномъ дѣлѣ учительскихъ обязанностей, будто они могутъ дѣлать оцѣнку человека и затѣмъ подвергать его оскорбленіямъ. Воспитатель долженъ исполнять свое дѣло, любить своихъ питомцевъ, являть собою примѣръ справедливости, благородства и чести, быть впереди общаго горячаго движенія къ совершенствованію, но онъ не долженъ накладывать непосильнаго бремени на плечи дѣтей, не долженъ путать отношенія и оставлять свой постъ вождя молодаго воинства. Неправильная мягкость воспитателя есть его самоупражденіе. Здѣсь наставникъ, въ излишне горячей погонѣ за устраненіемъ всякаго гнета, совершаетъ актъ своеобразнаго ограбленія: онъ лишаетъ воспитанниковъ руководства, помощи и опоры. Нѣтъ ничего не гуманнѣе фальшивой гуманности: «nichts inhumaner als die Humanität, die der Storrigkeit mit Freundlichkeit, der Ungezogenheit mit Geduld beizukommen sucht (Кестнеръ, Педагогическія мысли, 1862 г.)».

Нужно отрѣшиться отъ иллюзій, нужно оставить сентиментальную идеализацію всякихъ человѣческихъ возрастовъ. Не разъ трезвая критика и безпристрастное наблюденіе вооружались противъ такой идеализаціи. Такъ напр. Спенсеръ, въ отвѣтъ на распространенное мнѣніе о «невинности» дѣ-

тей, говорилъ, что это мнѣніе справедливо относительно «невѣдѣнія» зла, но вполне ошибочно относительно дурныхъ «побужденій»: жестокость и многіе другіе инстинкты ребенка, — замѣтилъ онъ, — похожи на инстинкты дикаря. Раньше Спенсера, Лафонтенъ называлъ дѣтскій возрастъ незнающимъ жалости и пощады (*cet âge est sans pitié*). Еще раньше, Лабрюйеръ писалъ, что «дѣтя высокоумно, гнѣвно, завистливо, любопытно, эгоистично, лѣнливо, воровито» и т. д. Вообще, избѣгая всякихъ крайностей, должно сказать, что дѣтя не ангелъ совершенства, а слабое растеніе, нуждающееся въ тщательномъ и заботливомъ уходѣ. Юноша не олицетворенный идеалъ добра, а наша надежда, строитель будущности нашей страны, которому надо помочь изготавиться къ дѣлу, вооружиться умственными и нравственными силами для предстоящаго труда. Можно горячо любить безъ самообмановъ. Намъ вспоминается время, когда, въ послѣднюю турецкую компанію, Россія посылала полки на театръ военныхъ дѣйствій. Никто не представлялъ себѣ каждаго воина воплощеніемъ героизма, для котораго были бы излишни дисциплина и руководство командировъ. Смотря на солдата, опирающагося на ружье, въ ожиданіи посадки въ поѣздъ, или выглядывающаго изъ окна, проносящагося мимо выгона, мы имѣли, конечно, полное основаніе предполагать въ немъ личность тѣхъ или иныхъ человѣческихъ слабостей и недостатковъ. Но, не взирая на это, всѣ провожали войско взглядомъ, полнымъ любви, горячими пожеланіями, готовностью помочь, чѣмъ только въ силахъ, потому что всѣ видѣли въ отравлявшихся плоть отъ плоти своей, сыновъ своего отечества, шедшихъ постоять за его благо, славу и честь. Молодое поколѣніе есть также наше войско, которому мы передаемъ свои старыя знамена, и которое мы снаряжаемъ постоять за Россію, потрудиться на осуществленіе ея завѣтныхъ идеаловъ, когда мы сами уже попадемъ въ категорію выбывшихъ изъ строя.

Правда, нѣтъ ничего вреднѣе, какъ предполагать постоянно въ воспитанникахъ порочныя наклонности и намѣренія. Этимъ способомъ можно внушить имъ именно такія дурныя

свойства: часто, по замѣчанію Гюйо, предположить порокъ значитъ создать его. Щедрая раздача воспитанникамъ кличекъ: шалунъ, лѣнвецъ, грубиянъ, и пр., можетъ возрастить эти пороки тамъ, гдѣ ихъ не было сначала. Иногда дурныя инстинкты лишь бродятъ въ душѣ ребенка или юноши, въ видѣ неопредѣленныхъ побужденій, кличка-же наставника даетъ имъ готовую форму для выраженія. Однако обязательная для педагога презумпція добра не должна переходить въ близорукую слащавость и въ комическую слѣпоту относительно того, что представляетъ собою дѣйствительность. Снисхожденіе и зоркая справедливость, любовь и солидная строгость, — таковы полюсы, между которыми укладывается истинное нравственное воспитаніе. Добродѣтели цвѣтутъ въ атмосферѣ ласки и довѣрія, но коренятся въ почвѣ дисциплины и контроля. Одинъ изъ величайшихъ даровъ нравственнаго просвѣщенія состоитъ въ сообщеніи юной душѣ способности почтительно чувствовать надъ міромъ личныхъ своихъ идей, желаній и влеченій, авторитетъ наставника, власть идеала и долга. Это чувство спасаетъ человѣка въ минуты слабости, когда страсти увлекаютъ его волю, а разсудокъ сдается на компромиссы. Безъ охраны этого чувства намъ всегда угрожаетъ опасность скатиться въ пропасть, гдѣ «нѣтъ ничего святаго». Нужно-ли описывать безотрадный въ нравственномъ смыслѣ образъ человѣка, въ которомъ укоренилась привычка ни во что не вѣровать и ничего не уважать? По основательной догадкѣ одного англійскаго ученаго, девизъ «nil admirari» — навѣрно излюбленная поговорка дьявола.

Говоря о способахъ переведенія знаній добра въ область желанія его, нельзя умолчать о чрезвычайно важной обязанности наставниковъ понимать и уважать индивидуальныя наклонности воспитанника. Почти всегда, даже въ самомъ обыкновенномъ и незначительномъ человѣкѣ замѣчается нѣчто особенное, точно мерцаніе какого то свѣта. Это проглядываетъ въ человѣкѣ индивидуальное призваніе, особенная наклонность къ какому-нибудь дѣлу, къ какому-нибудь специальному способу проявленія личности. Чѣмъ-бы мы ни занимались, въ какія-бы условія мы ни были поставлены, наши

чувства и мысли постоянно склоняются въ сторону любимаго дѣла, какъ стрѣлка компаса склоняется къ сѣверу. Одного изъ насъ привлекаетъ миръ музыкальныхъ мелодій, другаго — краски и линіи пластическихъ искусствъ, третьяго — туманныя выси поэтической мечты или метафизическаго созерцанія, четвертаго — перепутанныя нити жизненной практики, пятаго, шестаго и т. д. — хитрые ребусы хозяйственной дѣятельности, мускальные запросы физическаго труда, техническія сложности ремесла и пр. Во всемъ этомъ проявляется богатство человѣческой природы, стремящееся выступить наружу. Никто не сѣтуетъ на такую пестроту призваній, потому что въ ней открывается широкое разнообразіе путей служенія человѣческому благополучію и прогрессу. Такъ-же точно долженъ думать и воспитатель, не задаваясь цѣлью вдвинуть всѣхъ воспитанниковъ въ общую рамку и замкнуть ихъ въ одну колею. Даже солдаты въ бѣгѣ на приступъ выбираютъ себѣ удобныя тропинки, тѣмъ болѣе дозволительно это при восхожденіи въ гору просвѣщенія. Поэтому, школа обязана содѣйствовать развитію призваній и открывать возможность питомцамъ предаваться любимому дѣлу. Даже въ томъ случаѣ, когда призваніе обманетъ надежды и не принесетъ обильныхъ и цѣнныхъ плодовъ, любимое дѣло окажется своею незамѣнимую услугу въ воспитательномъ отношеніи. Любимое дѣло — якорь спасенія при бурномъ подъемѣ страстей, условіе внутренняго довольства, гарантія отъ погрязанія въ тинѣ пороковъ, и отъ приступовъ разочарованія, скуки и отчаянія; въ любимомъ дѣлѣ постоянный уютный уголокъ, куда тяготѣетъ сердечная мысль человѣка, даже въ моменты временнаго помраченія, среди вихря безумныхъ увлеченій.

Не надо только смѣшивать любимое дѣло съ стремленіями къ чему-нибудь въ виду побочныхъ цѣлей, косвенныхъ расчетовъ на похвалу, на удовлетвореніе самолюбія и пр. Какъ то разъ, въ одномъ изъ университетскихъ городовъ, вошли въ моду публичныя лекціи, читаемыя студентами. Одинъ за другимъ, студенты выбирали себѣ темы и излагали ихъ среди аудиторіи изъ городскихъ обывателей и обывательницъ. Многимъ въ

обществѣ понравилось такое занятіе, какъ удовлетворяющее призванію молодыхъ людей къ научному труду, какъ отвлеченіе ихъ отъ дурнаго употребленія времени и пр. Однако, съ этимъ нельзя согласиться. Публичныя студенческія лекціи не столько научный трудъ, сколько фальсификація науки. Готовность съ легкимъ сердцемъ поучать людей, знаменуетъ печальное пренебреженіе къ наукѣ, къ которой люди истиннаго призванія подходятъ съ благоговѣйнымъ трепетомъ, съ постояннымъ, даже часто съ излишне-мнительнымъ сомнѣніемъ въ собственныхъ силахъ. Семейное отношеніе къ наукѣ должно быть строго порицаемо, ибо оно воспитываетъ опасную привычку топтаться всюду съ пыльными ногами и считать весь Божій міръ разгороженной пустыней. Само собою разумѣется, что упомянутыми юными лекторами руководило не какое-нибудь особенное «любомудріе», а только постороннія приманки, желаніе пожать лавры среди неравнодушныхъ къ юности балзаковскихъ дамъ, среди одобряющихъ взоровъ хорошенькихъ глазъ и скрытой зависти товарищей. Въ результатъ всего этого, для дѣйствующихъ лицъ, могла получиться не прочная и чистая радость осуществленнаго призванія, а лишь содомскія яблоки тщеславія, публичной выставленности, чувственнаго волненія и т. п. Истинное любимое дѣло имѣетъ свою безотносительную цѣну, оно свѣтится своимъ собственнымъ свѣтомъ и не меркнетъ среди безлюдія и уединенія. Въ немъ наша ежедневная опора, оно ежечасно съ нами. Ночью, мысль о немъ помогаетъ намъ забыть пустоту протекшаго дня, утромъ оно снабжаетъ насъ мужествомъ передвигать ноги среди болота и мелочей будничной жизни. Любимое дѣло сражается даже съ нашимъ горемъ и нерѣдко вырываетъ изъ него ядовитое жало.

III.

Между вопросами нравственнаго воспитанія не послѣднее мѣсто занимаетъ вопросъ о наилучшей для него обстановкѣ. Не мало педагоговъ высказываются въ пользу семейнаго вос-

питанія и обнаруживаютъ враждебность по отношенію къ закрытымъ заведеніямъ, къ пансіонамъ или интернатамъ. Семья, говорятъ они, естественный питомникъ добродѣтелей. Здѣсь, съ самаго рожденія, формируется душа человѣка подъ внимательнымъ взоромъ родителей, отъ котораго не скрываются личныя особенности питомца. Тутъ нравственное воспитаніе идетъ въ благопріятной атмосферѣ взаимнаго довѣрія, любви и откровенности, среди поучительнаго соприкосновенія съ внѣшней жизнью, съ людьми различныхъ занятій, взглядовъ и общественныхъ положеній, въ полезномъ разнообразіи смѣны будней прелестью праздничнаго оживленія, и пр. Семейство, по выраженію Бодрильера, «est une école mutuelle où chacun s'améliore, en cherchant à rendre les autres meilleurs et plus heureux». Совсѣмъ не то, прибавляютъ сторонники семейнаго воспитанія, представляютъ собою пансіоны. Въ нихъ вся жизнь располагается по командѣ, и воспитаніе принимаетъ характеръ «шествія подъ барабанъ» (Берсо, «Morale et politique»). Пансіоны маленькіе, частныя, обыкновенно бываютъ лишь автрепризами съ цѣлью наживы, безъ всякихъ педагогическихъ заботъ. Въ многочисленныхъ-же, казенныхъ интернатахъ начальство едва звааетъ въ лицо своихъ питомцевъ, причемъ характеры ихъ совсѣмъ исчезаютъ изъ вниманія; поэтому, здѣсь правила заступаютъ мѣсто наставника и воспитанникъ обращается въ простой номеръ среди другихъ, подобныхъ-же номеровъ. А между тѣмъ, для нѣжнаго возраста, для душъ не утвердившихся и гибкихъ во всѣ стороны, желательное управленіе другаго рода, помощь ласковой, внимательной руки. Такъ какъ закрытыя школы довольствуются однимъ наружнымъ порядкомъ и внѣшней дисциплиной, то въ нихъ развивается лицемѣріе, ложь, наушничество и всевозможныя хитрости въ обходѣ правилъ и надзора. Среди безконечной войны съ начальствомъ, слагается особенная мораль, подъ законодательнымъ вліяніемъ наиболѣе отважныхъ, скороспѣлыхъ юношей. Эти сорванцы, курящіе самыя толстыя папиросы и пьющіе спиртные напитки не морщась, являются идеаломъ для своихъ товарищей; презрѣніе къ наставленіямъ воспитателей, ко всему нѣжному и чистому, считается обя-

зательнымъ для всякаго уважающаго себя школьника. Вообще, въ пансіонской жизни наибольшее вліяніе оказывается не лучшими личностями, а худшими, подобно тому, какъ и гнилое яблоко заражаетъ свѣжее, а не свѣжее исцѣляетъ гнилое. ↙

Не смотря на кажущуюся убѣдительность этихъ доводовъ, съ ними нельзя согласиться. Коренная фальшь ихъ заключается въ томъ, что они сравниваютъ «достоинства» семейнаго воспитанія съ «недостатками» пансіонскаго, и къ тому же исходятъ изъ предвзятой мысли о благоустроенной, совершенной семьѣ. Но семейство, какъ оно есть въ современной дѣйствительности, далеко не то, чѣмъ можетъ быть въ идеалѣ. Въ книгѣ Спенсера сдѣлано много неутѣшительныхъ наблюдений о томъ, что псевдо-воспитательныя дѣйствія родителей, въ большинствѣ случаевъ, обусловливаются минутными настроеніями, выражаютъ просто преобладающія, хорошія или дурныя, ощущенія родителей и измѣняются съ каждымъ часомъ, сообразно съ переменною этихъ ощущеній. Въ словахъ, голосѣ и манерахъ семейныхъ окриковъ и выговоровъ часто гораздо больше рѣшимости подчинить ребенка, чѣмъ заботы о его благѣ. Тутъ нерѣдко передъ нами отвратительное зрѣлище личныхъ счетовъ и пристрастій, желанія побѣдить путемъ насилія или злобной насмѣшки; здѣсь широкій просторъ для проявленія деспотическихъ наклонностей, съ наслажденіемъ дающихъ себѣ волю въ отношеніи къ дѣтямъ, ибо въ этой средѣ имъ не угрожаетъ отпоръ, какъ вездѣ въ иномъ мѣстѣ. Съ другой стороны, на аренѣ семейнаго воспитанія, въ лицѣ родителей и родственниковъ, часто выступаютъ дѣятелями хаотическія души, способныя спутать самыя ясныя моральныя понятія. Тутъ поднимается во весь ростъ безсмысленная, близорукая любовь, воспитывающая маленькихъ тирановъ, которые возбуждаютъ во всякомъ постороннемъ человѣкѣ отвращеніе и негодованіе. Кому, затѣмъ, неизвѣстна обычная непослѣдовательность родительскихъ приказаній и запрещеній, задерживающая ребенка или юношу, вызывающая въ нихъ невольное презрѣніе къ руководителямъ и рождающая дразни взаимныхъ споровъ, ссоръ и прочихъ атрибутовъ истиннаго воспитательнаго ада? Сюда-же должно отнести

совершенную педагогическую неподготовленность большинства отцовъ и матерей. Вспомнимъ «Исповѣдь» г-жи Конради. «Когда мой мальчикъ, — самодовольно рассказываетъ она, — совершаетъ выдающійся проступокъ, я объявляю ему, что «разсорилась» съ нимъ. Ссора эта заключается въ томъ, что я его игнорирую, не гляжу на него, не заговариваю съ нимъ и отвѣчаю холодно и односложно на его вопросы». Очевидно, г-жа Конради не подозрѣваетъ истиннаго смысла своего приема, она не знаетъ, что развиваетъ въ своемъ ребенкѣ способность «дуться», этотъ отвратительный способъ борьбы, въ которой побѣда остается за тупой натурой и гдѣ упражняется упорство злобнаго безилія; она не знаетъ, что умѣніе быть въ ссорѣ, по вѣрному замѣчанію Гюйо, есть первый шагъ къ противоположности, потому что сущность этого умѣнія заключается въ искусствѣ «дѣлать на зло»...

Продолжая перечень опасностей семейнаго воспитанія, необходимо упомянуть о неблагопріятномъ дѣйствіи почти непремѣнныхъ участницъ этого воспитанія, такъ называемыхъ, гувернантокъ. Эти достойныя сожалѣнія особы, увядающія въ вѣковѣчной изолированности, проводящія всю жизнь около чужихъ жизней, въ качествѣ постороннихъ зрительницъ чужихъ радостей, неизбѣжно пріобрѣтаютъ весьма искривленные жизненные и нравственные взгляды, застарѣлую зависть и безнадежную разочарованность. Всѣмъ этимъ ядомъ онѣ заражаютъ атмосферу, которой приходится дышать юнымъ, слабымъ, воспримчивымъ легкимъ.... Наконецъ, нельзя забывать о длинномъ рядѣ золъ, которымъ доступна современная семья, начиная съ доморализирующихъ ссоръ супруговъ, «не сошедшихся характерами», и кончая отвратительнымъ соперничествомъ извѣстнаго рода между отцомъ и сыновьями, и между матерью и дочерьми. Все это образуетъ обстановку, въ которой можно стать порочнымъ гораздо раньше, чѣмъ получаютъ первыя понятія о томъ, что есть порокъ. Таковы опасности, кроющіяся во воспитательной средѣ семьи. Къ сожалѣнію, едва-ли можно сдѣлать исключеніе и въ пользу нашей, русской современности. Въ самомъ дѣлѣ, уже не ссылаясь на личныя наблюденія каждаго, приходится встрѣ-

чатся съ частыми заявленіями въ педагогической литературѣ о томъ, что «семейное воспитаніе у насъ не даетъ хорошихъ результатовъ». Въ этомъ отношеніи существуютъ даже официальные обличительныя свидѣтельства, напр., въ министерскихъ распоряженіяхъ печальной эпохи «вигилизма», въ которыхъ говорится: «Дѣти и юноши, вмѣсто того, чтобы найти въ своихъ семействахъ отпоръ политическимъ фантазіямъ, встрѣчаютъ иногда, напротивъ того, одобреніе и поддержку. Это явленіе подкрѣпляетъ въ убѣжденіи, что у насъ нерѣдко не семья поддерживаетъ школу, а школа должна воспитывать семью» (ср. мин. распор. отъ 24 мая 1875 г.).

Параллельно съ сказаннымъ можно замѣтить, что перечисленные выше недостатки пансіонскаго воспитанія обуславливаются, по большей части, не существомъ этого воспитанія, а лишь устранимыми его несовершенствами. Сверхъ того, противъ реестра такихъ недостатковъ можно и должно привести еще болѣе длинный списокъ добрыхъ и полезныхъ качествъ. Совмѣстная жизнь школы представляетъ собою своего рода общество въ малыхъ размѣрахъ, среди котораго юный гражданинъ пріобрѣтаетъ масштабъ для сравненія себя съ другими и для критическаго къ себѣ отношенія, вслѣдствіе чего въ немъ не развивается, ни дикая застѣнчивость, ни безосновательная гордость, такъ часто порождаемая одиночнымъ воспитаніемъ. Въ пансіонѣ человѣкъ получаетъ первые уроки искусства жить въ общеніи. Въ школьномъ режимѣ пунктуальность распредѣленія времени, столь часто порицаемый неумолимый звонокъ, не знающій сдѣлокъ съ лѣнностью, сообщаетъ воспитаннику привычку не быть рабомъ своихъ слабостей и компромиссовъ, а учить его подчиняться правилу, что переходитъ незамѣтно въ привычку подчиняться велѣнію долга и закону. Воспитаніе, сконцентрированное въ школахъ, легче обезпечить надлежаще подготовленными и компетентными наставниками. Сфера этого воспитанія гораздо удобнѣе для вентилированія контролемъ гласности и всякимъ другимъ надзоромъ, чѣмъ замкнутый міръ семейныхъ очаговъ. Воспитанникъ, живя не только лицомъ къ лицу съ старшими, но и въ равной средѣ товарищескихъ отношеній,

имѣетъ арену для упражненія самостоятельности и извѣстной степени свободы слова и дѣйствія. Самое общественное мнѣніе маленькаго школьнаго государства, благоразумно направленное, можетъ оказывать мощное вліяніе, увлекая индивидуальныя воли въ общемъ потокѣ единодушнаго чувства на извѣстный, желательный путь. Въ виду подобныхъ соображеній, приходится признать воспитательныя преимущества интерната. Конечно, здѣсь многое зависитъ отъ личныхъ свойствъ и достоинствъ наставниковъ; личныя качества дѣятеля очень важны во всѣхъ отрасляхъ жизни, но нигдѣ въ такой мѣрѣ, какъ въ области воспитанія.

IV.

Въ началѣ этой главы мы говорили, что ознакомленіе воспитанниковъ съ идеаломъ христіанской морали не должно замыкаться въ отвлеченные трактаты, адресующіеся къ уму и памяти, а должно сливаться со всею жизнью школы, со всякимъ шагомъ и часомъ ея дѣятельности, должно насыщать всю атмосферу воспитательнаго заведенія своимъ священнымъ благоуханіемъ. Смѣемъ думать, что этотъ методъ, цѣлесообразный вообще, особенно примѣнимъ въ Россіи, такъ какъ онъ имѣетъ готовый базисъ въ особенностяхъ русской религіозности, значительно отличающейся отъ религіозности западной. Мы просимъ позволенія, для демонстраціи этой мысли, сдѣлать небольшую эпизодическую экскурсію въ область литературы, имѣющей задачей отражать въ своемъ зеркалѣ дѣйствительность. Мы остановимся на двухъ-трехъ беллетристическихъ произведеніяхъ и прежде всего на соч. Зола: «Проступокъ аббата Мурр».

Разсказъ Зола переноситъ читателя въ деревенскую глушь южной Франціи. Передъ нами открывается обожженная солнцемъ долина, съ каменистой почвой, рождающей, среди тяжелыхъ потугъ, жесткую траву и узловатую растительность. Жидкія миндальныя деревья здѣсь перемѣшиваются съ сѣрой мглой оливокъ, а дальше идутъ полосы виноградниковъ, блѣдно-

зеленые квадраты хлѣбныхъ посѣвовъ. На всемъ ландшафтѣ рдѣетъ истома жажды и лежитъ печать какого-то упорства жизни, страстности порожденія и напряженія устоять въ бытіи. У подошвы пологихъ холмовъ раскинулась деревушка, группа маленькихъ бѣдныхъ домовъ. На этихъ человѣческихъ жилищахъ лежитъ тотъ же характеръ, что и на окружающей мѣстности; можно сказать съ полнымъ правомъ, что жизнь здѣсь «близка природѣ». Тутъ люди всѣмъ существомъ своимъ сливаются съ жизнью земли, съ ростомъ и созрѣваніемъ винограда и хлѣба; это, въ сущности животныя, которыя борятся съ каменистыми полями, инстинктивно цѣпляясь за жизнь и размножаясь. Атмосфера этого человѣческаго жилья отзывается какъ-бы скотнымъ дворомъ, съ его наивнымъ цинизмомъ, безсознательною жестокостью и инстинктивнымъ жизнеупорствомъ. Тутъ половое влеченіе связываетъ естественные узлы, дѣти смѣшиваются съ общею свалкою существованія, не давая себѣ времени вырасти; дѣвушки не ожидаютъ замужества, чтобы стать матерями. Нигдѣ въ деревушкѣ не замѣтно человѣческихъ усложненій, человѣческаго подъема мысли и чувства; кругомъ только естественно запотѣлыя лица, напрягающіеся мускулы, сгибающіяся въ работѣ спины, наглые взоры, лукаво безстыдный смѣхъ, откровенный эгоизмъ животнаго, отсутствіе различія дурныхъ поступковъ отъ хорошихъ, если только отъ совершенія ихъ человекъ не становится хромымъ или горбатымъ. Здѣсь мужская непристойность вызываетъ только хохотъ женщинъ, а проявленія жестокости оцѣниваются всѣми лишь по степени причиняемаго ею физическаго страданія. Здравый смыслъ этихъ «естественныхъ» людей не поднимается выше простѣйшихъ правилъ утилитарной арифметики; всюду простота міросозерцанія, обусловленная близорукостью ума и сердца, отъ которыхъ наглухо сокрыты глубина человѣческой души и высота небесъ.

Блуждая взоромъ по этой безотрадной картинѣ, мы вдругъ замѣчаемъ надъ деревней, на вершинѣ пригорка, церковь съ прислоненнымъ къ ней жилищемъ священника. И мы останавливаемся въ недоумѣніи: неужели между этой церковью и

живущимъ внизу населеніемъ нѣтъ никакой связи? Неужели ни одинъ освѣщающій лучъ не падаетъ изъ храма и ни одно освѣжающее дуновеніе не струится съ высоты пригорка? Оказывается, что нѣтъ. Церковь стоитъ въ изолированномъ сиротствѣ. Богослужебные возгласы теряются въ ней среди пустыхъ скамеекъ и латинскія слова обращаются въ едва слышный лепетъ, среди врывающагося въ двери и окна гомона окружающей природы. Изъ домовъ не устремляются вверхъ благоговѣйные взоры и ни одно сердце не согрѣвается благочестивой заботой о «благолѣпіи храма», представляющаго собою убогій видъ опустѣвшаго хлѣва. Лишь изрѣдка является сюда малочисленная толпа обывателей, для отбыванія обрядовъ, въ видѣ развлеченія, и тогда, среди священныхъ предметовъ, поднимается смѣхъ и возня, шаловливое пародированіе молитвы, щипки и прочія проявленія цинизма молодыхъ звѣрковъ. Никому не приходитъ въ голову, что есть нѣчто, называющееся грѣхомъ. Исполненіе таинствъ носитъ характеръ снисходительной уступки устарѣлому обычаю или надѣдливому настоянію священника. «Пусть вѣнчаетъ,—говорятъ обыватели,—если ему такъ хочется, но только чтобы эти пустяки не отнимали времени и не наскучали продолжительностью». Даже похороны составляютъ здѣсь фактъ, интересующій только съ чисто обиходной точки зрѣнія: выбылъ человекъ, его мѣсто занимаютъ другіе, житейская волна замыкается, и всѣмъ любопытенъ лишь вопросъ о томъ, какъ уложатся нарушенныя образовавшейся пустотой отношенія. Церковный-же обрядъ—формальность, которая своимъ «*requiescat in pace*» вызываетъ развѣ мимолетный вздохъ при мысли, что и съ нами будетъ тоже.

Всматриваясь въ это равнодушіе, мы видимъ, что оно есть результатъ не дѣтскаго невѣдѣнія, а старческаго скептицизма опустошенной души. Въ поступкахъ обывателей сквозитъ не невѣдѣніе сущности и вѣрвѣній религіи, а ясно выраженная презрительная насмѣшка. Мэръ деревни, на заявленіе священника о необходимости поправокъ въ церкви, отвѣчаетъ съ улыбкой: «Если Господь Богъ доставитъ извѣсть и черепицу, то мы дадимъ каменщиковъ». Обыватели, наталкиваясь

на предметы религии, обнаруживают не тупое удивление или равнодушие, а иронию настоящего *esprit fort*. Нельзя сказать, чтобы надъ этой долиной еще не всходило солнце просвещения; солнце было, но затѣмъ надъ всею мѣстностью пронеслась буря вольномыслия, скептицизма и всякихъ безчинствъ возмнившего о себѣ слишкомъ много человѣческаго разума. Яснымъ свидѣтельствомъ объ этой бурѣ является присутствіе среди населенія типичной фигуры «философа», который прочиталъ всѣхъ писателей XVIII вѣка, цѣлыя груды старыхъ книгъ, трактующихъ о религии, и «многому изъ нихъ» научился. Онъ доразвился до высоты, обозрѣвая съ которой весь горизонтъ, небо и землю, онъ торжественно возглашалъ: «Нѣтъ ничего, ничего, ничего!... Когда солнце погаснетъ, всему наступитъ конецъ... Нѣтъ ничего... Все это одинъ фарсъ. Религія вымыселъ злыхъ людей, она средство пугать трусливыхъ и заставлять ихъ платить». ✕

Итакъ, вся религіозность выжата изъ этой почвы, преданной исключительно дѣлу—«жаркимъ усиліямъ плодородія». Вся религіозность сосредоточилась въ изолированномъ храмѣ, гдѣ ее представляютъ и выражаютъ духовныя лица. Это выраженіе здѣсь не одинаково; оно выступаетъ, или въ простой и грубой формѣ, или въ формѣ болѣе сложной, развитой. Въ представителяхъ первой формы (братъ Арканжіа) церковная религіозность проявляетъ рѣзкую, фанатически озлобленную оторванность отъ жизни. Она складывается въ слѣдующую формулу міросозерцанія: «Всѣ люди—гады; женщины носятъ погибель въ своихъ юбкахъ. Было-бы отлично, если бы ихъ душили при рожденіи. Единственное средство сдѣлать всѣ эти существа приятными Богу—это перебить имъ ребра. Необходимъ небесный огонь, чтобы искоренить ихъ всѣхъ. Религія уходитъ изъ селъ, потому что ее сдѣлали слишкомъ мягкосердечной; ее уважали, пока она держала себя безпощадной госпожей. Лучше бросить причастіе, чѣмъ дать его грѣшнику или еретіку». Таково прямолинейное міровоззрѣніе, при которомъ служитель церкви радуется всякой людской бѣдѣ, какъ наказанію за грѣхи, и изувѣрски неистовствуетъ, съ полной вѣрой, что онъ есть истинная

«Божья собака» и что весь рай любитъся на него изъ оконъ съ одобрительной улыбкой. Нѣтъ нужды доказывать, что такое «благочестіе» не можетъ имѣть никакого практическаго просвѣтительнаго дѣйствія, что оно совлекаетъ въ прахъ челоѣконенавистничества святое дѣло религии, что зрѣлище его вызываетъ только презрительное къ себѣ отвращеніе, и что жизнь естественно и неизбежно поворачивается къ нему спиной. Но, какъ мы сказали, религіозность, сконцентрированная и изолированная въ церкви и ея служителяхъ, бываетъ и другая, болѣе высокаго и сложнаго характера (аббатъ Мурэ). Здѣсь она выступаетъ въ видѣ искренней и глубокой тоски сердца по идеалу, въ видѣ горячаго стремленія къ праведной жизни. Однако, сосредоточивая вниманіе на свойствахъ пути этого стремленія, мы скоро замѣчаемъ искусственность и опасность исходной точки отправленія. Благочестіе, о которомъ мы говоримъ, проникнуто убѣжденіемъ, что дорога къ богоугодности поднимается сразу, крутымъ подъемомъ въ гору, и отдѣляется отъ низменной долины земнаго общежитія. Такимъ образомъ, передъ челоѣкомъ, слѣдующимъ своему религіозному влеченію, тутъ открывается два обособленныхъ, ничѣмъ другъ съ другомъ не связанныхъ міра: далеко вверху—міръ абстрактнаго совершенства, мистическаго блаженства, безъ плоти и крови; далеко внизу—міръ животности и грязи, міръ природы, которая подъ солнечнымъ покровомъ таитъ отвратительный, изѣденный пороками образъ мегеры. Понятно, что челоѣкъ описываемаго благочестія преисполняется желанія замереть, закрыть глаза отъ свѣта, заткнуть уши отъ земнаго шума, превратиться въ безплотный духъ, радостно почувствовать распаденіе всякихъ связей съ людьми и исчезновеніе самой почвы подъ ногами. Но челоѣкъ этотъ все-таки, по существу своему, принадлежитъ къ землѣ, а такъ какъ онъ считаетъ ее сплошнымъ грѣхомъ, то и собственная его принадлежность къ землѣ ложится на него позорнымъ пятномъ. Ложная мысль о бездѣ между небомъ и землею, искусственное попраіе собственной природы, не остаются безъ возмездія: гомонъ людскаго общенія не зоветъ заблуждающагося подвижника идти туда съ

добрымъ дѣломъ или съ ласковымъ благословеніемъ, а напротивъ, отпатываетъ его и пугаетъ. Дыханіе жизни пробуждаетъ въ немъ мучительную боль тревоги, и для него, дѣйствительно, малѣйшій шорохъ или вздохъ, несущійся отъ людскаго жилища, есть уже ядъ заразы, ибо этотъ шорохъ способенъ разбудить въ душѣ отзвукъ и нарушить искусственное оцѣпенѣніе; малѣйшія проявленія радости жизни, дѣйствительно, грозятъ опрокинуть противоестественное равновѣсіе духа. И жалкая жертва собственнаго заблужденія ищетъ спасенія въ молитвѣ: «Убей мои чувства, — шепчетъ онъ въ экстазѣ, — пусть чудо сокрушитъ во мнѣ человѣка, я не хочу въ себѣ ни нервовъ, ни мускуловъ, ни біенія сердца, ни желаній. Я хочу превратиться въ вещь, въ камень, служащій подножіемъ церковныхъ изваяній». Несчастный искренно и пламенно желаетъ, чтобы скорѣе наступила всеобщая смерть и разверзшееся небо приняло наши души подъ гнусными обломками вселенной. Эта всеобщая смерть дастъ ему, наконецъ, успокоеніе и разомъ прекратитъ соблазнъ мірской жизни, которая, по его фантастическому представленію, неизбежно проникнута будто-бы исключительной жадностью человѣка «вѣрять только въ себя, въ свои мускулы, въ потребности своего организма, наслаждаться силой и произволомъ, не зная надъ собою господина, убивать своихъ враговъ камнями и уносить въ объятіяхъ проходящихъ женщинъ».

Само собою разумѣется, что такая религіозность, растворяющая идеаль добра въ мистицизмъ, чуждомъ духу христіанства, не способна пролить животворящіе лучи на человѣческое общеніе. Стремясь подняться на высоту, она не увлекаетъ съ собою людей, потому что презираетъ ихъ. Она отворачивается отъ жизни и жизнь отворачивается отъ нея, погрязая въ обожествленіи «естественныхъ потребностей» и опускаясь все ниже и ниже, среди беспросвѣтнаго окружающаго мрака.

Напрасно было-бы думать, что эта религіозность такъ жестка лишь къ сѣрому люду селъ и захолустій. Она сохраняетъ тотъ-же характеръ и въ городахъ, въ крупныхъ центрахъ просвѣщенія (ср. напр. соч. Додэ, «Проповѣдница»,

съ мѣстодѣйствіемъ разсказа въ Парижѣ). Здѣсь также она уходитъ въ экзальтацію, дышетъ безпощадною жестокостью и обращается только къ текстамъ отчаянія, къ формуламъ проклятій и наказанія. Среди многолюдства общежитія, она не менѣе безучастна къ людскимъ бѣдамъ, потому что участіе къ нимъ ей кажется несогласнымъ съ духомъ религіи, ибо всякія раны, физическія и нравственныя, она считаетъ благословеннымъ испытаніемъ, которое должно приблизить человѣка къ Богу. Она замыкается въ аскетической гордынѣ, и міръ земной остается безъ ея свѣта и не хочетъ этого свѣта. Міръ празднуетъ свой карнавалъ на шумныхъ улицахъ, подъ яркимъ свѣтомъ электричества, у сіяющихъ золотомъ ресторановъ, среди афишъ и вывѣсокъ, среди пѣсенъ пьяницъ, смѣха нарядныхъ женщинъ и плача голодныхъ дѣтей. Люди безопасно кружатся въ колесѣ жизни, «точно стая мухъ, вертящихся на солнцѣ, вокругъ древа смерти», по выраженію Додэ. И нѣтъ тутъ никакихъ мостовъ, перекинутыхъ черезъ пропасть, отдѣляющую царство духа отъ царства плоти. Жизнь соприкасается съ религіей лишь кое-гдѣ своими внѣшними, наружными, иногда и скверными краями. Это соприкосновеніе выступаетъ или въ лицемѣрїи, когда человѣкъ, изъ какихъ-нибудь видовъ, дѣлаетъ постыныя гримасы и усваиваетъ походку, точно придавленную тяжестью первороднаго грѣха, или въ жадномъ любопытствѣ къ тайнамъ какого-нибудь буддизма, или въ оффиціальномъ посѣщеніи храмовъ, гдѣ молитва обращена въ рутинный обрядъ, словно японская церковная машинка, безъ всякаго огня воодушевленія, гдѣ слова богослуженія теряются въ попотѣ тщеславія и житейской суеты, и гдѣ все, начиная съ сторожа въ костюмѣ метрдотеля, дышетъ одною и тою-же лѣнною души, покрывающею весь храмъ, какъ ржавчина покрываетъ наружную рѣшетку.

Отрывая взоръ отъ этихъ картинъ, нарисованныхъ иностранскими художниками, перенесемъ его на произведеніе одного изъ отечественныхъ писателей («Соборяне» г. Лѣскова).

Опять передъ нами затерянный уголокъ глухаго захолустья. Ряды небольшихъ строеній растянута молчаливыми улицами

по берегамъ меланхолической рѣчки. Повсюду вялое движеніе и слабыя проявленія жизни, каждое пробужденіе которой слѣдуетъ возвратиться ко сну и мертвой тишинѣ. На центральныхъ мѣстахъ, среди зданій, высятся церкви, орнаменты которыхъ свидѣтельствуютъ больше объ усердіи, чѣмъ о процвѣтаніи архитектурнаго искусства. У собора расположены дома духовенства, гдѣ живутъ «соборяне». Мы обратимъ наше вниманіе на центральную личность между соборянами, на о. Савелія, оставивъ въ сторонѣ другаго священника, смиреннаго Захарію, и витязя діакона Ахиллу, который совершалъ среди прихожанъ свои наивно-добродушные подвиги богатырской удали. Въ о. Савелій насъ поражаетъ неистощимый запасъ жизненности; онъ умѣлъ скорбѣть и радоваться, и былъ доступенъ умиленію, негодованію и гнѣву. Онъ проходилъ свой жизненный путь, не отвернувшись отъ свѣта, а глядя на него пристальнымъ взоромъ и отвѣчая на біеніе пульса окружающей жизни энергическимъ трепетомъ смѣлой души. Онъ не уединялъ себя въ положеніе посторонняго зрителя и не удовлетворялся ролью сентиментальнаго созерцателя или негодующаго критика. «Не философъ я, — говорилъ онъ, — а гражданинъ; мало мнѣ сего: нужусь я, скорблю и страдаю безъ дѣятельности». И онъ въ самомъ дѣлѣ, всегда стремился въ людскую толпу, не для того, конечно, чтобы пріобщиться ея порокомъ, а для того, чтобы помочь ея нуждамъ. Въ немъ находила постоянно бодрствующаго противника общественная накипь, въ родѣ учителя Препотенскаго, который говорилъ, что о. Савелій ненавидитъ его «за естественныя науки». Въ лицѣ смѣлаго соборянина встрѣчали неусыпнаго врага гражданское равнодушіе руководящихъ элементовъ общества и ненавистная русская смѣшливость, всегда готовая замѣнить анекдотомъ настоятельную необходимость энергическаго дѣла. О. Савелій началъ свое служеніе проповѣдью объ отличіи благихъ дѣяній отъ добрыхъ намѣреній, о присягающихъ и о присягъ своей небрегающихъ; и окончилъ жизненный подвигъ горячимъ словомъ о «равнодушныхъ молеельщикахъ табельныхъ дней», горячимъ призывомъ «молиться, чтобы сердце Ца-

рево не было въ рукахъ человѣческихъ, а въ рукахъ Божіихъ».

Такимъ образомъ, религіозность здѣсь не уносила въ туманную высь; она вся цѣликомъ укладывалась въ рамки честнаго служенія одновременно Богу и людямъ, добру и отечеству. Путь этого служенія проходилъ широкою улицей родного городка, который въ своемъ духовномъ складѣ давалъ опору и фундаментъ для подвиговъ Савелія. Много было недомыслія и нравственнаго сора въ этомъ духовномъ складѣ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, тутъ мы находимъ крѣпкую, сливающуюся съ обиходомъ жизни религіозность, которая выступала, то въ горячей молитвѣ на пепелищѣ разоренной раскольничьей молеельни, то вспыхивала желаніемъ отстоять святое отъ грубыхъ посяганій непривзванныхъ блюстителей, то отвѣчала на теплое слово проповѣди слезами, роняемыми на благословляющую руку пастыря, то проступала въ лепетѣ полунищаго старика огородника, который сѣялъ сѣмяна, кладя зерна крестообразно и взывая по одному слову: «Боже, устрой и умножи, и возрасти на всякую долю человѣка голоднаго и сираго, просящаго, благословляющаго и неблагодарнаго». Сколько находимъ мы комизма, а вмѣстѣ и трогательности, хотя-бы въ потрясеній городокъ исторіи съ найденными человѣческими костями! По этимъ костямъ Препотенскій собирался «изучать человѣка», но мать учителя и другіе обыватели хотѣли непременно похоронить ихъ. Наивно-благочестивымъ людямъ хотѣлось помолиться надъ могилой неизвѣстнаго покойника, говоря: «помяни, Господи, раба твоего имрека!» Можно-ли отрицать чрезвычайную знаменательность заботы объ этомъ «имрекѣ», о безвѣстномъ человѣкѣ, о безымянномъ братѣ во Христѣ?... О. Савелій не презиралъ, въ гордомъ аскетизмѣ, своихъ прихожанъ; онъ любилъ ихъ, и они тяготѣли къ нему всей душой, они постоянно были солидарны съ нимъ, жили одною съ нимъ жизнью. Что въ пастырѣ было отчетливо формулировано, въ паствѣ разливалось въ видѣ чувствованій и чаяній. Въ своей житейской неумѣлости, паства не могла оказать полезнаго содѣйствія, но она слѣдила сочувственнымъ взоромъ за своимъ духовнымъ отцомъ,

пускалась въ различныя наивныя мѣропріятія, писала заступническія просьбы начальству, — и эти драгоценныя листы каракуль «міра» были дороже жизни о. Савелію.

Такова открывающаяся здѣсь близость между паствой и пастыремъ, между человѣческимъ жильемъ и церковью, между жизнью и религіей. Намъ могутъ сказать, что и въ Россіи есть подвижники, которые не смѣшваются съ людскою толпою и живутъ вдали отъ свѣта, замкнувшись въ уединенныя кельи. Не отрицая этого, нельзя въ тоже время не видѣть, что такое уединеніе рѣдко переходитъ въ забвеніе міра, въ равнодушіе къ людямъ и во вражду къ свѣту. Очень часто мы можемъ наблюдать широкое и теплое общеніе между иноческою кельею и широкимъ моремъ мірской жизни. Вспомнимъ старца Зосиму Достоевскаго, вспомнимъ толпы разнороднаго люда, отовсюду стекавшагося къ нему исповѣдывать свои сомнѣнія, свои грѣхи, свои страданія, искать совѣта, просить наставленія. Старецъ, преодолая свою слабость и болѣзнь, шелъ имъ на встрѣчу съ ободряющею улыбкою, съ проникновеннымъ словомъ, съ любовнымъ благословеніемъ, и люди повергались передъ нимъ, цѣловали ноги его, цѣловали землю, на которой онъ стоялъ. Это-ли не величайшая мѣра духовнаго общенія?... Намъ могутъ сказать еще, что ни о. Савелія, ни старца Зосиму нельзя считать рядовыми явленіями, что на нихъ лежитъ ореолъ художественной идеализаціи, — но и аббатъ Мурэ не есть изображеніе обыкновеннаго аббата. Мы вызвали въ памяти эти образы, не какъ фотографію дѣйствительности, а какъ указаніе тенденцій, лежащихъ въ основѣ западной и русской религіозности, и намъ думается, что приведенные примѣры способны убѣдить, что воспитательный рецептъ, о которомъ сказано выше, имѣетъ готовую почву въ свойствахъ нашего благочестія и въ историческихъ привычкахъ нашего народа.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Воля и характеръ.

I.

Чтобы быть добродѣтельнымъ, нужно знать вѣднія добра. Однако-же, весьма часто, прекрасно зная, что путь добра лежитъ направо, мы все-таки идемъ налѣво. Слѣдовательно, кромѣ знанія, необходимо еще желаніе добра. Чувства служатъ живыми мотивами нашей дѣятельности: если они у человѣка вялы, то и соответственныя имъ поступки будутъ носить такой-же мертвенный характеръ, тогда какъ энергическая чувствительность есть колыбель сильной активности. Но, съ другой стороны, чувства, имѣя цѣлью что-либо пріятное, вносятъ въ человѣческую душу сутолоку базара, они стараются перекричать другъ друга, дозволяютъ себѣ стратегическіе приемы обмана и соблазна, вслѣдствіе чего побѣда добраго желанія въ этомъ хаосѣ является чѣмъ-то гадательнымъ и случайнымъ. А потому, чтобы обезпечить доброе направленіе своей дѣятельности, человѣкъ долженъ поставить надъ шумной толпой своихъ чувствъ и страстей хорошо вооруженнаго стража, стойкаго судью, который бы разбиралъ тяжбы между желаніями и защищалъ скромное благожеланіе отъ наглаго напора сомнительныхъ и низкихъ вождедѣній. Этотъ стражъ и судья долженъ всегда имѣть силу распорядиться человѣческой дѣятельностью съ извѣстной долей самостоятельности, относительно прилива и отлива естественныхъ влеченій; онъ долженъ обладать постоянно находчивостью, какъ поступить въ моменты шторма, а также штиля, когда порывы жажды тѣхъ или иныхъ удовольствій замолкаютъ и перестаютъ надувать попутнымъ вѣтромъ паруса нашей жизненной ладьи.

Этотъ стражъ или судья есть человѣческая воля, выработка которой составляетъ существенное дѣло нравственнаго воспитанія, «terrible problème de l'éducation», по выраженію

Бодрильера. Это дѣло и по нынѣ остается на заднемъ планѣ въ современной педагогіи. Таково, по крайней мѣрѣ, утверждение многихъ компетентныхъ писателей, какъ, напр., проф. Лесгафта, который говоритъ («Школьные типы», 1884 г.): «Что касается развитія стойкости и энергіи, а также умѣнія владѣть собою, то эти вопросы нашими школами совершенно оставлены въ сторонѣ». Въ такомъ же смыслѣ высказывался и Шелгуновъ въ письмахъ о воспитаніи: «Исключительно теоретическая, книжная школа создаетъ только ничтожныхъ людей, и вотъ почему наше время есть время ничтожныхъ характеровъ».

Изъ разныхъ способовъ выработки воли, необходимо прежде всего остановиться на физическомъ воспитаніи, ибо, по справедливому замѣчанію Sully, «l'exercice de l'activité physique est une éducation rudimentaire de la volonté». И въ самомъ дѣлѣ, опытъ каждаго изъ насъ свидѣтельствуетъ о бѣдахъ, проистекающихъ изъ слабости вѣшной, тѣлесной оболочки человѣка, не могущей служить прочнымъ сосудомъ для его внутренняго, душевнаго содержанія. Всѣмъ извѣстно жалкое положеніе личности, которая способна высоко подниматься мыслью, но осуждена немощью тѣла влачить инертное, пассивное существованіе. Нерѣдко можемъ мы видѣть грустную драму борьбы между благородными стремленіями, горячимъ подъемомъ чувства, и противодѣйствіемъ физическаго здоровья, которое отвѣчаетъ на всѣ порывы сердца своимъ неумолимымъ veto. У человѣка можетъ быть и знаніе добра и желаніе совершить благое дѣло, но ему недостаетъ физическаго проводника въ міръ активности, — и жертва неисправности какого-нибудь «нервнаго центра» остается пригвожденнымъ къ мѣсту нравственнымъ трупомъ. Въ подобныхъ случаяхъ, мы чувствуемъ въ себѣ присутствіе какъ-будто другаго человѣка, который обхватилъ насъ цѣпкими объятіями и на наши крики: «Мы хотимъ, мы пойдемъ, мы сдѣлаемъ!», отвѣчаетъ съ злобнымъ смѣхомъ: «вы никуда не пойдете и ничего не сдѣлаете». Такимъ образомъ, могучій духъ можетъ бесплодно трепетать въ оковахъ мертвнаго тѣла. Всякая попытка души подняться въ высь обра-

щается здѣсь въ конвульсію и вмѣсто орлинаго полета, получаютъ пароксизмы тяжелаго паденія. При изможденности физической, нѣтъ воина, гражданина, мыслителя, работника, а есть больной человѣкъ, — предметъ общаго состраданія и медицинскаго ухода. Горе тому войску, въ которомъ населеніе лазаретовъ преобладаетъ надъ численностью боеваго строя.

Наконецъ, слабость тѣла является воспримчивой средой не только для физическихъ болѣзнетворныхъ микробовъ, но и для нравственныхъ зараженій. Слабое тѣло нашептываетъ намъ сдѣлки съ совѣстью, лѣнь, компромиссы, неправильные эксцессы, страсти съ запахомъ тлѣнія, тайныя похоти, пессимизмъ и отвращеніе къ жизни. Нельзя отрицать того, что психо-физическіе дефекты составляютъ лучшую почву для всѣхъ этихъ «нервныхъ раздражительностей», извращенностей вкуса, вспышекъ изступленнаго гнѣва, несоотвѣтствія дѣйствій съ цѣлями, отупѣлой апатіи, порабощенія летучими впечатлѣніями и прочихъ золь, изъ которыхъ слагается моральная недоброкачественность, порождающая человѣческіе проступки, грѣхи и преступленія. Уже Руссо прекрасно сказалъ, что «plus le corps est faible, plus il commande». Авторъ «Эмиля» сверхъ того справедливо замѣтилъ, что при слабомъ воспитанникѣ, наставнику остается роль сидѣлки, и что, въ сущности, напрасно учить жизни тѣхъ, кто поставленъ въ необходимость ежеминутно думать только о спасеніи отъ смерти.

Эта истина съ давнихъ поръ извѣстна людямъ. До Руссо, во Франціи, она озабочивала глубокой умъ Мантэня и ярко выступала у Раблэ, въ рассказѣ о воспитаніи Пантагрюэля. Отношеніе физическаго здоровья къ нравственности знакомо было и древности, когда существовала поговорка: «*primo vivere, deinde philosophari*», и когда Платонъ поучалъ о гармоническомъ развитіи человѣческаго существа, а Аристотель проводилъ заботу о физическомъ состояніи человѣка до самаго момента зачатія ребенка въ утробѣ матери, наивно рекомендуя заключать браки преимущественно зимою и при сѣверномъ вѣтрѣ. Наша современность, путемъ горькаго опыта и наблюденія печальныхъ результатовъ истощенія силъ

у молодого поколѣнія, пришла къ сознанию необходимости поправить старый грѣхъ педагогіи и заняться физическимъ здоровьемъ питомцевъ школы. Говоръ объ этой необходимости и ея всестороннее констатированіе заполнили всѣ педагогическія книги, рефераты и бесѣды нашихъ дней. Но едва-ли будетъ ошибочно сказать, что рассматриваемый вопросъ находится по нынѣ только въ теоретическомъ фазисѣ своего развитія. На практикѣ мы находимъ лишь платоническое и даже неискреннее къ нему уваженіе. Всѣ какъ будто притворяются, что прекрасно понимаютъ и цѣнятъ физическое воспитаніе, на дѣлѣ же къ нему замѣтно застарѣлое пренебреженіе. Представимъ себѣ слѣдующую аттестацію, сдѣланную директоромъ о какомъ либо изъ воспитанниковъ ввѣреннаго ему заведенія: «Онъ учится слабовато, но за то отличается цвѣтущимъ здоровьемъ и преуспѣваетъ въ гимнастическихъ упражненіяхъ». Для современнаго уха въ такой похвалѣ слышалась-бы только безпощадная насмѣшка. До сихъ поръ почти каждый директоръ, желая показать намъ цвѣтъ своего заведенія, поставитъ передъ нами одного изъ испытанныхъ «книжниковъ», юношу мрачнаго вида и скорбнаго облика, съ впалой грудью, съ землистымъ цвѣтомъ лица и съ близорукими глазами. Педагогъ съ гордостью смотритъ на этотъ продуктъ своего искусства. Онъ думаетъ въ восхищеніи, что эта блеклая худоба есть результатъ побѣды умственности и духа, поправшихъ презрѣнную оболочку плоти и обратившихъ человѣка въ олицетвореніе алгебраической формулы или грамматическаго правила. Педагогическое око находитъ идеаль воспитательнаго дѣла тамъ, гдѣ всякій непредубѣжденный взоръ видитъ лишь предметъ, вызывающій состраданіе, опасеніе, а иногда и непреодолимое отвращеніе. Сколько разъ эти олицетворенныя умственности, сбросивъ маску, разражались безудержными взрывами гнойныхъ вождельнѣй той самой плоти, которой, кажется, у нихъ совсѣмъ не оставалось! Еще чаще эти «гордости» педагоговъ увядаютъ безплоднымъ пустоцвѣтомъ.

Правда, вездѣ въ Европѣ вводится въ учебныхъ заведеній преподаваніе гимнастики, но нельзя не замѣтить, что

эти нововведенія носятъ на себѣ характеръ какъ бы вынужденныхъ и скупыхъ уступокъ передъ напоромъ очевидной необходимости. Школа словно говоритъ своимъ питомцамъ: «Въ виду настояній медицины, нужно, — нечего дѣлать, — оторваться отъ серьезныхъ занятій учебными предметами и, пожертвовавъ частицу времени, ввести въ программу урокъ гимнастики». Такимъ образомъ, щедро отмѣренные часы «гимнастическихъ упражненій» составляютъ своеобразную дань, которою школа откупается отъ исполненія одной изъ главнѣйшихъ своихъ обязанностей. Воспитанники, чуткіе къ внутреннимъ тенденціямъ окружающихъ порядковъ, небрежно отправляются въ залъ, механически продѣлываютъ кое-что изъ обязательныхъ гимнастическихъ приемовъ и возвращаются съ совершенно ничтожными результатами въ смыслѣ обогащенія своихъ физическихъ силъ. Очень знаменательно, что дѣтство и юность, столь-склонныя по своей природѣ къ подвижности, обнаруживаютъ обыкновенно полное равнодушіе, даже неприязнь къ «урокамъ», предоставленнымъ именно этой подвижности.

Впрочемъ, гимнастика, въ ея современномъ состояніи, есть дѣйствительно нѣчто весьма скучное и мало цѣлесообразное, такъ какъ она забываетъ физическія упражненія въ какую-то колодку искусственныхъ приемовъ, оторванныхъ отъ всякаго участія чувства, ума, воображенія, и потому выполняемыхъ съ вполне понятнымъ отвращеніемъ. Быть можетъ именно эти свойства гимнастики, дѣлающія ее похожею на другіе учебные предметы, расположили къ ней сердца педагоговъ, которые нашли въ ней подходящій компромиссъ между своимъ равнодушіемъ къ физическому воспитанію и надоедливымъ гомономъ общественныхъ сѣтованій и гигиеническихъ «констатированій». Во всякомъ случаѣ, едва-ли можно сомнѣваться въ томъ, что гораздо пригоднѣе къ дѣлу различныя игры, въ которыхъ ребенокъ или юноша участвуютъ всѣмъ существомъ и гдѣ всесторонне упражняются не только мускулы, но и легкія, и зрѣніе, и ловкость, находчивость, смысленность и т. д. Большой выборъ такихъ игръ и различныхъ видовъ юношескаго спорта даетъ Англія.

Къ разряду полезныхъ упражненій должно отнести и всякія ботаническія, зоологическія и инныя подобныя экскурсіи воспитанниковъ подъ руководствомъ хорошаго наставника. Сколько поэзіи находимъ мы въ описаніи такихъ прогулокъ, напр., въ автобіографическихъ замѣткахъ С. И. Аксакова!...

Но, говоря о важности названныхъ экскурсій, мы вспоминаемъ объ одномъ ихъ видѣ, кое-гдѣ вошедшемъ въ моду и тѣмъ не менѣ заслуживающихъ большаго порицанія. Мы вспоминаемъ объ отрядахъ школьниковъ, выстроенныхъ въ колонны и отправляющихся, въ предшествіи своего оркестра, въ клубахъ густѣйшей дорожной пыли, подъ палящимъ солнцемъ, верстъ за пять или за десять, въ загородныя мѣста, нерѣдко украшенныя пріютами обывательскихъ развлеченій. Мы не можемъ, по совѣсти, обойти своимъ вниманіемъ и осужденіемъ такія прогулки. Уже не говоря о ихъ негигіенической, а слѣдовательно и не цѣлесообразной обстановкѣ, эти прогулки составляютъ неумѣстную и вредную пародію на военное дѣло. Сущность военного дѣла заключается въ священной обязанности гражданъ защищать государство, съ полной готовностью во всякое время пожертвовать жизнью. Въ этомъ состоитъ зерно дѣла, душа его, придающая ему серьезный смыслъ и ореолъ величія. Къ такому зерну прилегаютъ соотвѣтственная, необходимая оболочка, состоящая изъ разныхъ приемовъ маршировки, строевыхъ эволюцій, подъ музыку и безъ музыки, и пр. Всѣ подобныя атрибуты дѣла получаютъ свое значеніе только отъ указаннаго высокаго смысла самого дѣла. Наконецъ, къ военному быту, какъ и ко всему почти человѣческому, примѣшивается кое-что лишнее, нежелательное, въ родѣ мишуры парадированія, неумѣстнаго проявленія удали солдата въ мирное время, излишне широкаго размаха въ житейскихъ отношеніяхъ и въ склонности слѣдовать девизу: «après nous le déluge». Но весь подобный соръ, иногда пристающій къ военной профессіи, искупается существомъ послѣдней; мы относимся къ нему снисходительно, такъ какъ знаемъ, что каждую минуту можетъ раздаваться звукъ призывной трубы, и всѣ эти люди двинутся заслонить отечество своею грудью. Обращаясь же къ

школьной псевдовоинственности, мы видимъ, что она лишена внутренняго смысла, о которомъ мы говорили. Она выражается вся цѣликомъ лишь во внѣшнихъ приемахъ шагистики и парадированія; она обращаетъ священное дѣло въ игру, что почти такъ-же неумѣстно, какъ было-бы непозволительно облачать дѣтей въ церковныя одежды и заставлять ихъ служить обѣдню. То, что необходимо въ военномъ лагерѣ, въ школьныхъ «походахъ» обращается въ пустую форму, а это не можетъ не пріучать воспитанниковъ къ фальши, къ поверхностному взгляду на вещи, къ легкомысленному обращенію каждаго серьезнаго дѣла въ забаву. Мы уже не говоримъ о непріглядныхъ деталяхъ «военныхъ прогулокъ», представляемыхъ дѣйствительностью... *К*

Къ числу прекрасныхъ средствъ укрѣпленія здоровья питомцевъ школы, должно отнести путешествія юныхъ туристовъ, подъ руководствомъ надежныхъ воспитателей. Извѣстно, что такія путешествія практикуются весьма широко за границей, гдѣ каждое лѣто можно встрѣтить повсюду группы дѣтей и юношей, совершающихъ пѣшкомъ, на пароходѣ и по желѣзной дорогѣ, свои вакаціонныя турнэ; иногда устраиваются тамъ альпійскія экскурсіи, при участіи даже маленькихъ дѣтей шести-семилѣтнаго возраста. Конечно, географическія условія Россіи не представляютъ желательныхъ удобствъ для всего этого, но въ извѣстныхъ предѣлахъ, путешествія возможны и у насъ. Вполнѣ осуществимы, напр., поѣздки воспитанниковъ нашихъ учебныхъ заведеній, для осмотра мѣстъ, дышащихъ отечественной стариной, для посѣщенія «полей», выдавшихъ русскую доблесть, для изученія городовъ и зданій, въ которыхъ завязывались коренные узлы нашей исторіи. Такъ же возможны поѣздки съ цѣлью осмотра центровъ нашей промышленности, образцовыхъ полевыхъ хозяйствъ, каменноугольныхъ копей и т. д. Такое ознакомленіе съ напряженіемъ силъ, необходимыхъ человѣчеству для отвоеванія своего мѣста на землѣ, способно вдохнуть въ юныя души жизненное мужество и рѣшимость къ смѣлой предпримчивости, безъ которыхъ не можетъ быть бодрого труженика и полезнаго члена общества. Крайне полезно, чтобы книжно-

бумажная стѣна, окружающая быть учащейся молодежи, разступалась хотя-бы на короткіе моменты и обнаруживала картину дѣйствительной человѣческой жизни, съ ея трудовымъ потомъ, съ ея неустанною борьбою, съ ея тяжелымъ, но и благороднымъ бременемъ обязанностей.

Относительно нравственно-эстетическаго воспитанія, мѣстоположеніе большей части Россіи, правда, не даетъ такого обилія матеріала, какъ природа западной Европы. Но и у насъ можно найти для путешествій интересные и поэтическіе районы. Таково широкое приволье Волги и Днѣпра. Такова-же Финляндія, съ ея краснымъ гравитомъ, громадными соснами, бархатной зеленью мховъ, неподвижными водами озеръ и со всею колоритностью ея природы, которая полгода спитъ подъ снѣжными сугробами, за то три лѣтніе мѣсяца блещетъ яркими красками жизни. На юныхъ туристов произведетъ несомнѣнно сильное дѣйствіе посѣщеніе мѣстности, гдѣ Вокса мчится по наклонной тѣснинѣ, съ ревомъ, грохотомъ и свистомъ перескакиваетъ черезъ громадные камни, и плещетъ массами воды, превращаясь въ пѣну (Иматра). Еще болѣе очарованія, будящаго въ человѣкѣ любовь къ природѣ и чувствованіе красоты, доставили-бы поѣздки и прогулки по южному берегу Крыма. Всѣмъ извѣстно гармоническое сочетаніе линий и красокъ этого поэтическаго уголка Россіи, его граціозныя скалы, омываемыя морскимъ прибоемъ, его таинственныя ущелья, поросшія гигантами сосенъ и буковъ, благоухающія ароматомъ хвои и клематиса, и оглашаемая говорливымъ журчаніемъ горныхъ ручейковъ. Кому не памятна каменистая тропинка, выводящая путника на вершину хребта, гдѣ открывается неожиданный степной просторъ, съ пожелтѣлой на солнцѣ травой, съ мирно пасущимися стадами овецъ, тогда какъ кругомъ, внизу, за каждымъ краемъ этой площадки, горная природа могучей растительности низвергается крупными скачками къ морю, по краю котораго человѣческія жилища кокетливо ютятся, подъ тѣнью широколиственнаго орѣшника и какъ-бы подъ охраной недремлющихъ стражей—меланхолическихъ, стройныхъ кипарисовъ. Нельзя сомнѣваться въ томъ, что среди такихъ

ландшафтовъ можетъ выпрямиться самый согбенный юношескій станъ, можетъ возродиться утраченный дѣтскій румянецъ и заблестать энергіей самый унылый и померкшій взоръ. А тутъ, къ тому-же, безбрежное водное пространство соблазняетъ предпринять морское путешествіе, подышать здоровымъ, горько-соленнымъ воздухомъ, понаблюдать суету «племень и нарѣчій» на пароходной палубѣ, полюбоваться луннымъ сіяніемъ на гладкой поверхности моря, или храбро выдержать бурю, которая способна навести на поучительныя размышленія о томъ, что человѣкъ хотя и вѣнецъ творенія, но сердитая волна безцеремонно брызжетъ пѣной въ лицо этому «господину природы».

Само собою разумѣется, что всѣ такія путешествія, прогулки и экскурсіи стоятъ не дешево, но дороговизна и дешевизна суть дѣло рукъ человѣческихъ. Не можемъ не помянуть благодарнымъ словомъ мудрую мѣру послѣдняго времени, значительно уменьшившую для учащихся стоимость желѣзнодорожныхъ проѣздовъ.

II.

Первое условіе укрѣпленія воли заключается въ приобрѣтеніи человѣкомъ способности задерживать порывы желаній, стремящихся выразиться въ поступкахъ, и дѣйствовать лишь послѣ того, какъ произведена оцѣнка мотивовъ и сдѣланъ между ними сознательный выборъ. Задержка импульсовъ обезпечиваетъ моментъ времени, когда человѣкъ даетъ сраженіе скрывающемуся въ его существѣ звѣрю, и когда соображенія предусмотрительности или велѣнія долга успѣваютъ справиться съ напоромъ близорукихъ аппетитовъ и страстныхъ влеченій. Этой именно способностью выдержки отличаются люди съ характеромъ отъ людей безвольныхъ, люди воспитанные отъ невоспитанныхъ, человѣкъ цивилизованный отъ дикаря.

И въ самомъ дѣлѣ, обращаясь къ психическому міру дикарей (на сколько онъ извѣстенъ по современнымъ изслѣдо-

ваніямъ), мы становимся лицомъ къ лицу съ царствомъ безудержной импульсивности безконтрольной эмоціональности. Импульсы и эмоціи играютъ дикаремъ по своему произволу, перебрасывая его, безъ достаточныхъ причинъ, отъ взрывовъ радости къ воплямъ гнѣва и отъ порывовъ отваги къ слезливой боязни. Извѣстна поразительная душевная подвижность бушмена, ярко выступающая въ крайней подвижности его вѣшняго облика, его глазъ, бровей, угловъ рта и даже ушей. Но и другія племена, напр., индѣйцы, о величавомъ хладнокровіи которыхъ мы всѣ такъ много читали въ дѣтствѣ у Майнъ-Рида и Эмара, и эти «сыны природы», по свидѣтельству путешественниковъ, радуются и огорчаются изъ-за ничтожныхъ причинъ, легко убиваютъ себя, приходятъ въ состояніе кровожаднаго экстаза на охотѣ и, ударившись ногою о камень, бросаются его кусать. Таковы «естественные люди», весьма похжіе, вѣроятно, на нашихъ отдаленныхъ предковъ, жизнь которыхъ лежитъ за предѣлами исторіи. Въ этомъ вихрѣ желаній и хаосѣ поступковъ, зарождавшаяся цивилизація должна была сдѣлать прежде всего одно важное дѣло, а именно создать общія руководящія начала, поставить надъ жизнью непреложный авторитетъ обычая или закона, чтобы люди привыкли отличать дозволенное отъ недозволенного, и чтобы человѣкъ отвыкъ считать себя центромъ міра, что дѣлало изъ него раба его собственныхъ прихотей. Однимъ словомъ, зародившаяся культура требовала прежде всего заложенія основъ нравственной дисциплины.

Въ этомъ-же состоитъ первая задача и нынѣшняго воспитанія воли. Дѣтство и юность, по своей природѣ, импульсивны. Они способны, правда, горячо отзываться на зовъ добрыхъ чувствъ, но надъ ними могутъ имѣть такую-же силу и противоположныя эмоціи. Оставленные безъ помощи и руководства, на произволъ случая, дѣтство и юность могутъ закружиться въ водоворотѣ разнообразныхъ впечатлѣній и всевозможныхъ летучихъ желаній, что ведетъ неминуемо къ безволію и безхарактерности. Часто безволіе является въ обманчивой маскѣ сильнаго характера. Кому не знакомо дѣтское упрямство въ какихъ-либо шалостяхъ или юноше-

ское упорство въ той или иной предосудительной наклонности? Казалось-бы, что передъ нами въ данномъ случаѣ закаленная воля, съ которой не могутъ справиться всѣ наши доводы, мольбы и настоянія, но на самомъ дѣлѣ, тутъ лишь великая безхарактерность, совершенно поработанная тѣми или другими желаніями или страстями. Изъ лона такого необузданнаго своеволія эмоцій можетъ родиться много несчастій для человѣка, который, въ свою очередь, едва-ли дастъ много счастья своимъ ближнимъ.

Вспомнимъ для примѣра нѣсколько чертъ изъ біографіи Лассалья. Въ юношескомъ дневникѣ его мы находимъ между прочимъ слѣдующія признанія: «Я обращаю вниманіе, — пишетъ гимназистъ Лассаль, — только на тѣхъ, кого я уважаю и о которыхъ знаю, что они могутъ меня понимать. Кто меня не понимаетъ, мнѣніе того мнѣ безразлично; если онъ судитъ обо мнѣ дурно, то это все равно, какъ если-бы школьникъ, которому попались въ руки мудрыя изреченія Гафиза, съ презрѣніемъ бросилъ бы книгу, потому что онъ не понимаетъ языка». Эта курьезная самонадѣянность юноши иллюстрируется описаніемъ Лассалья своихъ мыслей, когда онъ однажды, за шалости и необузданное своеволіе, былъ позванъ на судъ педагогическаго совѣта своего учебнаго заведенія. «Не смотря на невыразимое презрѣніе, которое я чувствовалъ, — рассказываетъ онъ, — мнѣ все-же было больно. Мнѣ казалось, что я мертвый орелъ и лежу въ полѣ, и прилетали вороны и сороки, и другія презрѣнныя птицы и клевали мнѣ глаза, и отрывали мясо мое отъ костей. Но вдругъ я опять сталъ двигаться, жизнь возвратилась ко мнѣ, и я расправилъ свои шумящія крылья. Съ карканьемъ разлетѣлись вороны и сороки, и я поднялся высоко, къ самому солнцу». Быть можетъ есть наивные люди, которые съ благоговѣніемъ усматриваютъ въ такихъ признаніяхъ первыя проявленія силы генія, но на трезвый взглядъ здѣсь лишь типичное выраженіе дикаго эгоизма, который ослѣпленъ самонадѣянностью, видитъ въ цѣломъ мірѣ только собственную личность и, подъ обманчивой оболочкой гордой воли, является слугою своихъ антисоціальныхъ инстинктовъ. Въ томъ же

дневникъ иногда какъ бы мелькаетъ сознание печальной истины. Такъ, мы читаемъ въ одномъ мѣстѣ: «Если хорошенько разсмотримъ дѣло, то я просто эгоистъ; если бы я родился принцемъ, я былъ-бы тѣломъ и душою аристократъ, но такъ какъ я сынъ простаго бюргера, то я буду демократъ». Такова человѣческая душа, витающая въ первобытномъ хаосѣ и представляющая воспитателю трудную задачу — разбить твердыни эгоизма и вырастить общежительные нравственные стимулы среди плевелъ противуобщественныхъ эмоцій.

Уже Локкъ справедливо замѣчалъ, что тотъ, кто не привыкъ въ юности подчинять свою волю разсудку другихъ, едва-ли станетъ внимать или повиноваться своему собственному, придя въ возрастъ, когда получить возможность пользоваться имъ. «Не умѣя справиться съ аппетитомъ къ винограду или къ пряникамъ, откуда возьмутся силы противустать стремленію къ вину и женщинамъ»? Вотъ почему воспитаніе должно ввести въ обиходъ жизни своихъ питомцевъ опредѣленные правила, составляющія практической выводъ изъ тѣхъ руководящихъ идеаловъ, о которыхъ мы говорили раньше. Излишне и даже вредно было-бы крайнее обиліе и казуистичность этихъ правилъ; нужна не детальная регламентация школьнаго режима, обращающаяся неизбѣжно во внѣшній формализмъ, а ограниченное количество коренныхъ нормъ, которыя служили бы для воспитанниковъ яркими маяками или отчетливо различимыми пограничными столбами между областями дозволеннаго, хорошаго и запрещеннаго, дурнаго. Но малое число правилъ должно быть за то охраняемо всею силою воспитательнаго авторитета. Здѣсь нѣтъ мѣста затуманивающимъ дѣло нюансамъ, отсюда необходимо изгонять всякіе компромиссы, обращающіе правду въ полуправду и идущіе, со ступеньки на ступеньку, черезъ полудобро и полужло, къ этическому мраку «всеотносительности» и «вседозволенности». Пусть надъ воспитанниками горитъ неугасимо путеводная звѣзда безусловнаго отдѣленія должнаго отъ недѣльнаго. Только при этомъ условіи въ юной душѣ возникаетъ сознание о ненарушимости нравственнаго закона, и только тутъ дисциплинируется характеръ.

Сила воли вырабатывается именно въ побѣдахъ, которыя человѣкъ одерживаетъ надъ собою, при исполненіи должнаго, при неуклонномъ осуществленіи того, что начато и что должно быть доведено до конца. Шаткое правило, колеблющійся авторитетъ воспитателя, грозятъ большими бѣдами. Напрасно надѣяться, что уступка, сдѣланная сегодня, можетъ быть заглажена строгостью завтрашняго дня; завтра допущенное зло предстанетъ съ удесятеренными силами, ибо каждый сдѣланный поступокъ есть начало привычки, начало положенной колеи, по которой человѣческая дѣятельность всегда расположена катиться. Порокъ освѣжается и крѣпнетъ при всякомъ разѣ допущеннаго упражненія. Сначала онъ является въ молодое сердце несмѣлымъ гостемъ, котораго нерѣшительно и сухо встрѣчаетъ хозяйинъ-воля; долгъ наставника спѣшить на помощь къ этому неопытному хозяину со всей энергіей и неуклонностью своего запрета. Съ такою помощью воля научается сберегать предѣлы души отъ всякихъ непрошенныхъ вторженій. Если выбирать изъ двухъ крайностей, между чрезмѣрной уступчивостью и строгостью воспитателя, то приходится остановиться на послѣдней. «Она по крайней мѣрѣ не ослабляетъ волю», говоритъ Некеръ де-Соссюръ. Въ томъ-же смыслѣ высказывается и Шелгуновъ: «Было время, когда Россія давала суровое, спартанское воспитаніе въ своихъ закрытыхъ заведеніяхъ. Но мы, прошедшіе эту школу, не отнесемъ къ ней съ дурной стороны. Воспитаніе было, дѣйствительно, сурово, потому что стремилось закалять душу и тѣло; въ крайнихъ своихъ проявленіяхъ оно бывало даже безпощадно, но оно имѣло на характеръ болѣе благотворное вліяніе, чѣмъ та реакція семейнаго воспитанія, которое создаетъ теперь лишь мелочныхъ себялюбцевъ». Не менѣе энергично возстаетъ противъ разслабленной педагогической Гюйо: если мы будемъ внушать, замѣчаетъ онъ, что единственный законъ на свѣтѣ собственное удовольствіе человѣка, ограниченное удовольствіями ближнихъ, что работать и учиться можно лишь когда хочется, а когда не хочется, то и не надо, — то такимъ путемъ мы не выработаемъ не только солдата, но и гражданина. Школа есть приготовленіе къ жизни,

а жизнь представляет собою организованное общежитіе, въ которомъ участвовать надлежащимъ образомъ могутъ только дисциплинированныя воли, способныя дружно дѣйствовать подъ общій лозунгъ.

Много разъ порицалась «старая», христіанская педагогія, съ ея аскетическою неуступчивостію и съ ея суровымъ настаиваніемъ на нерушимости человѣческихъ обѣтовъ и узъ. Но эта педагогія шла правильнымъ психологическимъ путемъ, она защищала вѣрность данному слову, обѣщанію и намѣренію, имѣя въ виду, что человѣкъ несчастенъ, слабъ и нечестенъ главнымъ образомъ именно вслѣдствіе своего непостоянства, вслѣдствіе своей склонности принять рѣшеніе и каждую минуту измѣнить его. Человѣкъ перебрасывается отъ чувства къ чувству, отъ мысли къ мысли, его привязанности такъ же подвижны, какъ мнѣнія, а мнѣнія такъ же летучи, какъ привязанности. Этотъ хаосъ рождаетъ тяжелое душевное бремя для людей и всякія нестроенія въ общежитіи. Выступая на помощь нашимъ слабостямъ, христіанство заботилось поставить человѣка въ условія, обеспечивающія выработку душевной дисциплины и ограждающія его отъ бѣдствій шаткости желаній. И только этой заботливостію о благополучіи людей объясняется кажущаяся суровость требованій, налагаемыхъ христіанскимъ ученіемъ.

Намъ могутъ сказать, что выступая на путь строгости, воспитаніе поставляется въ необходимость опираться на чувство страха и дѣйствовать наказаніями, тогда какъ то и другое осуждено наукою. Правда, всѣмъ извѣстны циркулирующія убѣжденія по данному вопросу: наша современность, если можно такъ выразиться, преисполнена ужаса предъ дѣтскимъ и юношескимъ страхомъ; однако же не должно гуманную основу этого ужаса доводить до крайности. Говорятъ, что психическое дѣйствіе страха выражается во вредномъ ослабленіи, во временномъ парализованіи человѣческаго организма, но самая эта задержка душевныхъ функций можетъ служить спасительнымъ средствомъ, когда эти функции стремительно направляются въ бездну нравственнаго паденія. Здѣсь моментъ парализованія эмоцій можетъ дать

человѣку время одуматься и справиться съ неистовствующею въ его сердцѣ *bête-humaine*. Много колеблющихся добродѣтелей нашло себѣ поддержку въ своевременно вспыхнувшей надъ ними молвіи угрозы; на другой же день послѣ кризиса онѣ находили себѣ иной, болѣе прочный якорь, который и обеспечивалъ ихъ дальнѣйшее развитіе. Что-же касается физически вреднаго дѣйствія страха, то съ умѣреннымъ перенесеніемъ вреднаго, какъ и съ лечебнымъ употребленіемъ ядовъ, побуждаетъ мириться глядящая въ будущее предусмотрительность.

Говорятъ, затѣмъ, что дѣтство при строгомъ воспитаніи похоже на весну безъ солнца; но, съ другой стороны, не напоминаютъ-ли дѣтскіе годы, проведенные въ своеволии и капризахъ, доходящихъ до истерики, тяжелый сонъ, исполненный мучительныхъ кошмаровъ? Утверждаютъ, наконецъ, что страхъ не приводитъ ни къ чему, потому-что всякій юный бунтовщикъ противъ школьныхъ законовъ надѣется всегда обмануть око надзора и избѣгнуть кары, подобно тому, какъ и всякій преступникъ рассчитываетъ на свою ловкость и изворотливость. Однако-же, этотъ послѣдній фактъ, хотя и общеизвѣстенъ, но нигдѣ не породилъ серьезныхъ намѣреній отмѣнить угрозу закона за правонарушенія. Всегда и вездѣ эту угрозу стараются бросить на чашку тѣхъ вѣсовъ, на которыхъ люди взвѣшиваютъ мотивы, рѣшаясь на совершеніе того или другаго дѣйствія. Передъ каждымъ человѣкомъ, взрослымъ и не взрослымъ, постоянно открыто много дорогъ, расходящихся по разнымъ направленіямъ. Эти дороги не одинаковаго достоинства, съ точки зрѣнія руководящаго этического идеала, но страсти способны увлекать человѣка, не соображаясь съ нравственнымъ достоинствомъ путей. И вотъ угроза, о которой мы говоримъ, выступаетъ передъ колеблющимся путникомъ и, какъ сказочный столбъ, предупреждаетъ его: «поѣдешь направо — потеряешь коня, повернешь налево — погибнешь самъ». Конечно, этический законъ не обладаетъ абсолютностью законовъ природы, вслѣдствіе чего человѣкъ, не взирая на запреты, все-таки можетъ ѣхать направо и налево, и въ дѣйствительности часто ѣдетъ...

Приблизительно съ половины текущаго столѣтїа, въ Европѣ замѣчается особенная интензивность стремленїй ко всякаго рода смягченїямъ воспитательнаго режима. Даже парламентскїе ораторы высказываются въ самомъ радикальномъ смыслѣ. «Пусть школы, — говорилось во Франкфуртѣ въ 1848 году, — не берутъ на себя руководство дѣтьми, пусть онѣ оставляютъ ихъ идти, куда увлекаетъ ихъ дуновенїе жизни, котораго трепетъ они ощущаютъ въ своей душѣ». Педагогїа, какъ-бы устыдившись своей старинной суровости, спѣшитъ къ противоположной крайности, стремится если не къ самоупраздненїю, то во всякомъ случаѣ къ полному разрыву со всѣмъ, что только напоминаетъ строгость, наказанїя и пр. Эта тенденція быстро отразилась и у насъ. Теоретики и практики воспитательнаго искусства отвернулись рѣшительно и съ отвращенїемъ отъ всякаго рода и вида школьныхъ взысканїй. Такъ, напр., извѣстный баронъ Корфъ («Педагогическія письма») категорически заявлялъ, что наказанїя не нужны, ибо и безъ нихъ «крайне легко вліять на молодежь, которую часто и справедливо сравниваютъ, по мягкости, съ воскомъ». Ссылаясь на Бэна, бар. Корфъ доказывалъ, что всякое наказанїе есть ослабленїе, потребленїе силъ мозга въ то время, когда работа учащагося требуетъ наибольшаго напряженїя ихъ; приэтомъ баронъ Корфъ очень возмущался, находя у того-же Бэна утвержденїе, что воспитанїе въ школѣ безъ наказанїй есть «пустая химера». Такїе взгляды нашихъ теоретиковъ не оставались, повидимому, безъ воздѣйствїя на практику, такъ какъ мы встрѣчаемся съ ними даже въ документахъ оффиціальнаго характера. Напр. въ Инструкціи по воспитательной части для кадетскихъ корпусовъ мы находимъ весьма скептической взглядъ на свойства наказанїй: «Въ педагогическомъ отношенїи наказанїя должны быть разсматриваемы какъ средства искусственныя, чуждыя чистой нравственности, нерѣдко способныя, вмѣсто внутренняго страха самаго зла, возбуждать боязнь страданїя посторонняго этому злу». Однакоже, не смотря на всѣ эти заявленїя и доводы, возможность обходиться безъ помощи школьныхъ взысканїй едва-ли провѣрена опытомъ. По крайней мѣрѣ, всѣ примѣры,

приводимые въ иностранной и русской литературѣ, какъ доказательства такой возможности, или не убѣдительны, или доказываютъ нѣчто совершенно иное.

Вотъ для образца идилическая картина изъ книги Эскироса. Одинъ директоръ, вступивъ въ должность, отмѣнилъ всѣ наказанїя и объявилъ воспитанникамъ: «Когда вы съ этихъ поръ сдѣлаете что-нибудь дурное, васъ будетъ наказывать только ваша совѣсть». Не долгое время спустя, проходя однажды по саду, онъ увидѣлъ, что одинъ изъ учениковъ объѣдаетъ съ жадностью крупныя кисти винограда, который росъ по стѣнѣ. Этотъ проступокъ далъ директору предлогъ для выполненїя своей программы. Не показавъ вида, что замѣтилъ похищенїе, онъ попросилъ воспитанника сходить за экономомъ; тотъ поспѣшилъ явиться въ сопровожденїи маленькаго вора, который уже началъ догадываться въ чемъ дѣло. «Милостивый государь, сказалъ директоръ эконому, — какимъ образомъ могло случиться, что вотъ этотъ мальчикъ, который только-что пообѣдалъ, такъ голоденъ, что тайкомъ объѣдалъ виноградныя кисти? Потрудитесь сами свести его въ столовую и накормить»... Вглядываясь самымъ тщательнымъ взоромъ въ эту сцену, мы видимъ въ ней не упраздненїе наказанїя, а только его наружное прикрытїе. Здѣсь педагогїа, предполагая отвергнуть наказанїя, возвращается къ нимъ-же въ замаскированномъ видѣ, ибо въ приведенномъ примѣрѣ несомнѣнно мы находимъ одно изъ обычныхъ школьныхъ взысканїй — выговоръ, но только въ запутанной формѣ, въ ухищренномъ проведенїи его черезъ ни въ чемъ не повинное, постороннее лицо эконома. Такимъ образомъ, передъ нами своеобразный педагогическій фокусъ, заслуживающій полнаго порицанїя, такъ какъ онъ вызываетъ неизбѣжно рядъ недоумѣнїй, спутывающихъ умъ и сердце воспитанника. Если наказанный не безнадежная тупость, то въ головѣ его непременно поднимутся вопросы: «Зачѣмъ директоръ притворился сначала, что не видѣлъ похищенїя винограда, когда онъ видѣлъ? Значитъ притворство не порокъ? Зачѣмъ выговоръ сдѣланъ эконому, который ни въ чемъ не виновенъ? Значитъ человѣка можно обращать въ

палку, которою бьютъ другаго человѣка? Зачѣмъ директоръ сказалъ, что я голоденъ, когда виноградъ можно ѣсть и вполне сытымъ? Кромѣ того, значить, если человѣкъ голоденъ, то воровать ему дозвоительно? Зачѣмъ послѣдовало отправление въ столовую? Не было-ли здѣсь умысла поднять меня на смѣхъ, предать шельмованію? Да и не есть-ли на самомъ дѣлѣ этотъ гуманнѣйшій воспитатель просто на-просто вазойливая, лукавая «пила»? Таковы безконечныя, антивоспитательныя недоумѣнія, проистекающія изъ ухищреннаго, фальшиваго наказанія.

Возьмемъ другой примѣръ «отмѣны» наказаній изъ соч. барона Корфа. «Одинъ опытный учитель, — читаемъ здѣсь, — никогда не наказывавшій, рассказывалъ мнѣ, что, унаслѣдовавъ чрезвычайно шумливый классъ въ 80 учениковъ, онъ водворялъ мертвую тишину только тѣмъ, что умолкалъ самъ и внушительно смотрѣлъ на дѣтей». Этотъ фактъ былъ-бы отраднымъ примѣромъ школьной мягкости, если-бы впечатлѣніе, имъ производимое, не портилось упомянутымъ «внушительнымъ» поглядываніемъ учителя на учениковъ. Во внушительномъ взорѣ заключается, конечно, угроза, и было-бы интересно узнать, что означала и обѣщала эта угроза въ приведенномъ примѣрѣ. Учитель, къ сожалѣнію, не «рассказывалъ» объ этомъ барону Корфу, но опытъ каждаго изъ насъ можетъ дополнить картину наблюденіемъ положенія вещей въ тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ «нѣтъ наказаній». Здѣсь прямыя, открытыя наказанія замѣняются обыкновенно косвенными, но весьма чувствительными суррогатами, здѣсь, правда, наказаніе никогда не входитъ въ классныя двери, но оно дѣйствуетъ исподтишка, изъ каждой щели, украдкой. Подъ разными формами «внушительныхъ взоровъ», оно тутъ мелькаетъ тысячецвѣтнымъ Протеемъ, то въ видѣ злобной ироніи, то въ видѣ шипящей насмѣшки, то въ отвратительныхъ вспышкахъ полужадавленной злобы безсилія, то въ убійственной политикѣ балловъ, счетовъ на экзаменѣ, или охотнаго, злораднаго исключенія изъ школы. Смѣло должно сказать, что такой порядокъ вещей есть истинный питомникъ порока, истинный очагъ развращенія молодежи, истин-

ный источникъ моральной отравы будущности страны. Нѣкоторые педагоги-практики простираютъ свою гуманность до того, что ограничиваютъ свои мѣры лишь доведеніемъ до свѣдѣнія родителей о предосудительныхъ поступкахъ ученика и исключеніемъ его изъ заведенія. Эти педагоги не понимаютъ, что такимъ образомъ они упраздняютъ самихъ себя и свидѣтельствуютъ о своей непригодности къ дѣлу, ибо первая мѣра переноситъ бремя воспитанія цѣликомъ на родителей, а вторая говоритъ о полномъ банкротствѣ школы. Своими остракизмами учебное заведеніе заявляетъ, что оно можетъ вести дѣло только съ хорошо воспитанными и уравновѣшенными натурами питомцевъ, но что всякое проявленіе нарушеннаго душевнаго эквилибра превосходитъ его силы и искусство. Но въ такомъ случаѣ, не лучше ли и справедливейше было-бы примѣнять остракизмъ къ самимъ педагогическимъ банкротамъ?...

Наконецъ, никто не будетъ спорить, что въ основѣ фальшивой гуманности, знающей одно лишь учтивое «увольненіе», лежитъ что-то желѣзно-жесткое и холодно-ледяное. Безмѣрно выше такого фарисейскаго гуманизма и изображенныхъ выше, лукаво-ухищренныхъ наказаній, — прямодушное, открытое взысканіе, строго держащееся предѣловъ справедливости, величепріятное, исполненное истинной любви и заботы, слѣдующее въ видѣ печальной тѣни за дурнымъ поступкомъ, своевременно пробуждающее нравственную дремоту и уколами малаго страданія предотвращающее крупныя бѣды моральнаго паденія. Эта педагогическая политика гораздо способнѣе носить въ себѣ теплоту человѣческаго сердца, чѣмъ школьная дипломатія воспитательнаго самоупраздненія или замаскированнаго подвоха. «Въ своей гуманности, — читаемъ у одного автора, — мы заходимъ слишкомъ далеко, становимся до того щепетильны, что мысль о возможности наказать ребенка намъ кажется верхомъ грубости. Не гуманность однако въ этомъ случаѣ говоритъ въ насъ, а малодушіе, слабость, граничащая съ трусостью. Мы недоумѣваемъ самимъ себѣ, недоумѣваемъ дѣтской любви, боимся, что и дитя не повѣритъ намъ, не пойметъ того, что будетъ происходить въ душѣ нашей, когда

мы подвергнемъ его взысканію. Любовь наша не сильна, не чиста, оттого мы и боимся всего. Мы какъ будто не хотимъ знать силы карающей съ любовью, не хотимъ видѣть жертвъ неразумной слабости, хотя эти жертвы всегда легко встрѣтить въ изобиліи, и въ исправительныхъ заведеніяхъ, и въ домахъ для сумасшедшихъ». Цитированныя слова принадлежатъ не какому-либо безсердечному педанту, а человѣку, безмѣрная любовь котораго къ людямъ и къ дѣтямъ стоитъ внѣ всякихъ сомнѣній. Эти слова принадлежатъ Песталоцци.

III.

Правда, большинство педагоговъ и моралистовъ, при всемъ своемъ нерасположеніи къ школьнымъ взысканіямъ, все-же не видятъ возможности обойтись безъ нихъ. И вотъ, для рѣшенія возникающей отсюда диллемы, выдвинута теорія «естественныхъ наказаній», отчетливо поставленная уже Ж. Ж. Руссо, заново перестроенная Спенсеромъ, и имѣющая не мало сторонниковъ. Эта теорія требуетъ, чтобы наказанія исходили не отъ лица воспитателя, а падали на юнаго совершителя проступковъ въ видѣ естественно неприятныхъ послѣдствій совершенія недолжнаго дѣйствія. Не трудно видѣть коренящееся здѣсь основное заблужденіе. Упомянутая теорія опирается на вѣру, будто нравственность вписана, въ готовомъ видѣ, въ книгу природы, которая предъявляетъ людямъ свои требованія и казнитъ за нарушеніе ихъ. Но мораль съ ея заповѣдями не то, что естественные законы сосуществованія и преэссенности явленій; мораль сосредоточивается въ особомъ, маленькомъ, собственно человѣческомъ мірѣ представленій о добромъ, прекрасномъ и должномъ. Изъ этого только міра истекаютъ дѣйствительно нравственные критеріи, одобренія и порицанія человѣческихъ поступковъ. Первое условіе надлежащаго дѣйствія наказанія, по справедливому замѣчанію Уэтца, заключается въ томъ, чтобы оно созвучалось и чувствовалось наказываемымъ, какъ наказаніе, тогда какъ естественно неприятное послѣдствіе какого-либо шага можетъ

убѣждать человѣка лишь въ непредусмотрительности, неблагоразуміи или оплошности. Въ лучшемъ случаѣ, — говоритъ Гюйо, — «естественныя наказанія» даютъ намъ понятіе о естественной причинности фактовъ, но нравственнаго характера они не имѣютъ. Да и сознаніе законообразности въ складѣ явленій, дѣлающее насъ болѣе благоразумными, часто затрудняется многосложностью и многопричинностью этихъ явленій, почему слѣдствіе можетъ быть очень далеко отодвинуто отъ своей причины, а иногда и вовсе устранено другими, замѣшавшимися въ дѣло причинами.

Все это не можетъ ускользнуть совершенно изъ вниманія самихъ сторонниковъ рассматриваемой теоріи и они чувствуютъ себя принужденными обставать «естественныя» наказанія такими искусственными уловками и хитростями, что въ нихъ не остается ничего естественнаго. Въ результатѣ получаются обыкновенныя воспитательныя мѣры, только искаженны лукавой неискренностью и испорченны ложной исходной идеей. Возьмемъ примѣръ у Эскироса. «Всякій разъ, говоритъ онъ, когда воспитанникъ не слушается совѣтовъ наставника, нужно «устраивать», чтобы онъ былъ наказанъ не наставникомъ, а неодушевленными предметами, окружающими ослушника». Далѣе, онъ даетъ образцы, какъ надо «устраивать» «естественные» уроки. Для искорененія въ юной душѣ себялюбія рекомендуется слѣдующій путь. Отецъ распредѣляетъ плодовые деревья въ саду между дѣтьми такимъ образомъ, что исправляемому эгоисту дается вишня (плоды которой поспѣваютъ раньше всѣхъ), другимъ дѣтямъ слива, груша и т. д. Когда наступитъ сборъ фруктовъ, себялюбецъ вѣроятно съѣстъ всѣ свои вишни самъ, не подѣлившись съ товарищами. Но скоро наступаетъ время естественнаго наказанія за этотъ дурной поступокъ: другія дѣти дадутъ эгоисту урокъ, или не удѣливъ ему ничего въ свою очередь, или великодушно подѣлившись съ нимъ своими грушами и сливами, чѣмъ себялюбецъ будетъ пристыженъ. Однако-же легко понять, что этотъ способъ вразумленія не имѣетъ истинно-нравственнаго значенія, потому что стремится воспитать ростокъ добродѣтели на почвѣ себялюбія, способной породить

лишь расчетливый эгоизмъ. Сверхъ того, этотъ путь не надеженъ, такъ какъ результаты здѣсь всегда проблематичны. И въ самомъ дѣлѣ, если въ примѣрѣ Эскироса товарищи дадутъ своихъ плодовъ эгоисту, то онъ можетъ придти къ заключенію, что поступилъ умно и остался въ выгодѣ, такъ какъ съѣлъ свои вишни, да еще братья, по глупости, дали ему грушъ и сливъ. Такова именно логика всѣхъ эксплуататоровъ. Если-же товарищи отомстятъ эгоисту его-же монетой, то отсюда въ сердцѣ послѣдняго зародится озлобленіе и желаніе принять соотвѣтственныя мѣры. Наконецъ, ничто не сообщаетъ своекорыстному лакомкѣ увѣренности въ томъ, что товарищи дали-бы ему своихъ фруктовъ, если-бы онъ и подѣлился съ ними вишнями; а въ такомъ случаѣ, не лучше ли «синица», находящаяся въ рукахъ, чѣмъ «журавли», летающіе въ небѣ?... Изъ сказаннаго ясно, что наказаніе, налагаемое открыто воспитателемъ, въ видахъ достиженія нравственнаго добра, несравненно предпочтительнѣе, чѣмъ всякія ухищренія фальсифицированнаго «естественнаго» возмездія, которое опирается на сомнительное исчисленіе послѣдствій нежелательнаго поступка. Необходимо только тщательное опредѣленіе смысла или принципа школьныхъ взысканій и тактичное употребленіе ихъ, сообразно съ этимъ принципомъ.

Воспитательныя наказанія, очевидно, нельзя считать лишь средствами самозащиты школы, потому что назначеніе школы заключается не въ охраненіи внѣшняго порядка въ жизни, а идетъ гораздо дальше и глубже, и состоитъ въ насажденіи добра въ сердцахъ ея юныхъ членовъ. Если право слѣшить уголовными карами изъять изъ общежитія преступника, чтобы онъ не нарушалъ общественнаго покоя, то педагогія не можетъ слѣдовать по этой дорогѣ, ибо цѣль ея, какъ и медицины, не столько въ томъ, чтобы управлять здоровыми и крѣпкими, сколько въ томъ, чтобы врачевать и поддерживать слабыхъ. Воспитательныя взысканія не суть также мѣры «школьной политики», которыя могли-бы примѣняться къ тому или другому воспитаннику «въ примѣрѣ другимъ», такъ какъ каждый изъ учениковъ представляетъ собою для учеб-

наго заведенія самостоятельную цѣнность, и жертвовать ею въ интересахъ достиженія какихъ-либо педагогическихъ замысловъ или въ пользу другихъ воспитанниковъ, было-бы противно коренному смыслу нравственнаго воспитанія. Далѣе, школьныя наказанія нельзя обосновывать и на принципѣ возмездія, потому что мечь, выдвигающая противъ чужаго злаго дѣйствія свое отвѣтное зло, приходитъ роковымъ образомъ къ оправданію цѣлю средствъ и къ распложенію насилія. Можно сказать вообще, что лучший способъ возрожденія человѣчества въ лонѣ мира и любви заключается въ полномъ оставленіи девиза: «око за око», которымъ обусловливаются жесткія и печальныя свойства современной жизни. Тѣмъ болѣе неумѣстно возмездіе въ расадникахъ общественной морали.

Нравственное воспитаніе, какъ мы говорили выше, есть совмѣстное движеніе всѣхъ членовъ школы по пути приближенія къ идеалу. Съ этой точки зрѣнія, школьныя наказанія составляютъ средства устраненія помѣхи въ общей работѣ. Такой помѣхой обыкновенно является не вся личность воспитанника, которая, какъ личность всякаго человѣка, состоитъ изъ самыхъ разнообразныхъ, часто даже противоположныхъ элементовъ, — а то или другое свойство личности, мѣшающее воспитаннику слѣдовать или успѣвать за общимъ горячимъ порывомъ въ гору совершенствованія. Значить, единственнымъ врагомъ воспитательнаго дѣла можетъ считаться только это мѣшающее свойство, и воспитатель долженъ звать, какъ союзника, на борьбу съ названнымъ врагомъ, самого воспитанника, въ душѣ котораго свило себѣ гнѣздо дурное качество. При такомъ положеніи вещей, лицо, подвергающееся педагогическому взысканію, чувствуетъ не злобу или мстительность, направленную противъ него, а заботу о себѣ, заботу, которая старается освободить его отъ сора, грязнящаго его душу, и отъ тумана, заслоняющаго отъ его взора лучезарный міръ нравственнаго идеала. Наказаніе, слѣдовательно, теряетъ здѣсь характеръ насилія; оно становится душевнымъ лекарствомъ (не лишеннымъ, правда, горечи), или необходимой защитой свѣтильника добра отъ новенія опасныхъ страстей и дурныхъ побужденій.

Само собою разумѣется, что наказаніе, понимаемое въ смыслѣ слуги добродѣтели, должно отражать на себѣ ея качества, т. е. должно быть справедливо, нелицепріятно, гуманно и т. д. Форма или видъ наказанія не имѣетъ особеннаго значенія. Тутъ всегда присутствуетъ элементъ условности, ибо самая идея наказанія дѣлаетъ тягостнымъ фактъ, часто по существу безразличный. Бывали попытки составлять подробные кодексы школьной репрессіи, на подобіе общихъ уголовныхъ уложеній, съ детальнымъ опредѣленіемъ мѣры наказанія за совершеніе разныхъ проступковъ, съ перечисленіемъ обстоятельствъ увеличивающихъ и уменьшающихъ вину и пр. Въ такомъ родѣ составлена «Инструкція для воспитателей гимназій», 30 лѣтъ тому назадъ, въ Кіевскомъ округѣ, подъ вліяніемъ Пирогова. Но этотъ казуизмъ едва-ли умѣстенъ. Въ школьной жизни должны быть твердо поставлены правила поведенія и нравственныхъ обязанностей воспитанниковъ, но точное обозначеніе напередъ мѣры взысканія за тотъ или иной школьный грѣхъ можетъ порождать лишь нежелательныя вычисления, со стороны воспитанниковъ, количества угрожающаго страданія сравнительно съ пріятной стороной запрещеннаго дѣянія. Цѣлесообразнѣе положиться въ данномъ отношеніи на тактъ надежнаго наставника.

Типичные виды современныхъ педагогическихъ каръ сводятся къ выговору, съ его различными нюансами, и къ заключенію провинившагося въ карцеръ. Въ выговорѣ должно разумѣть оповѣщеніе колеблющагося въ поведеніи воспитанника, что онъ стоитъ на дурной дорогѣ. Дѣлая выговоръ, наставникъ апеллируетъ къ силамъ самого воспитанника, будитъ его задремавшую внимательность, вызываетъ его хорошія свойства на бой противъ дурныхъ. Угрозы, кроющіяся въ выговорѣ, стараются страхомъ парализовать буйствующую сторону души нетвердаго въ добрѣ питомца школы. Заключение-же въ карцеръ даетъ просторъ для внутренней борьбы въ душѣ заключеннаго, даетъ время его хорошимъ качествамъ, терпящимъ за буйство дурной, собраться съ силами, возстать на эту дурную сторону, уличить ее въ причиненіи постигшаго страданія, и вытолкнуть ее изъ своей

среды. Вообще, главное значеніе наказанія заключается именно въ приостановкѣ дурно направленной дѣятельности и въ моментъ очной ставки, между всѣмъ хорошимъ въ сердцѣ человѣка и дурною его частью. Поэтому, въ наказаніи не должно быть ничего, что мѣшало бы этой цѣли и отвлекало вниманіе воспитанника въ сторону, въ борьбу не со зломъ, а съ наставникомъ или школьнымъ начальствомъ. Между тѣмъ, именно такой оборотъ принимаетъ дѣло во всѣхъ случаяхъ, когда взысканіе несправедливо, отравлено личной враждой наказывающаго, преисполнено оскорбительныхъ насмѣшекъ, или вообще излишне чувствительно въ нравственномъ или физическомъ смыслѣ. Само собою разумѣется, что здѣсь ощущеніе чрезмѣрнаго страданія не даетъ уже мѣста благодѣтельной духовной работѣ, а раздражается лишь болѣзненными воплями противъ палача.

Едва-ли нужно доказывать, что гнѣвъ не долженъ находить себѣ мѣста въ воспитательномъ дѣлѣ. По довольно распространенному предразсудку, принято видѣть въ гнѣвной, вспыльчивой натурѣ что-то прямое, правдивое и честное. На самомъ-же дѣлѣ, гнѣвъ есть открывающаяся въ несдержанномъ человѣкѣ отдушину, сквозь которую свѣтитъ и вспыхиваетъ пламя злаго сердца. Въ припадкахъ гнѣва, вспыльчивый человѣкъ сбрасываетъ личину и обнаруживаетъ свое неуваженіе къ личности ближняго, свой эгоизмъ, гордость и тащущую на двѣ души готовность служить дьяволу. Гнѣвный человѣкъ уподобляется животному, и самому ужасному изъ всѣхъ — человѣку-звѣрю. Нѣкоторые психологи (Бэнъ) замѣчаютъ, что гнѣвъ связанъ по происхожденію съ животнымъ инстинктомъ борьбы, и что въ немъ выступаетъ не истребленное до сихъ поръ въ нашей натурѣ свойство находить удовольствіе въ зрѣлищѣ чужихъ страданій, находить наслажденіе въ удовлетвореніи стремленій къ власти, къ притѣсненію, къ эксплуатированію и пожиранію враговъ-ближнихъ. Во всякомъ случаѣ, это чувство антисоціально, оно ведетъ къ разъединенію людей, оно, сверхъ того, ослѣпляетъ человѣка. Есть люди, которые хотя не идеализируютъ гнѣвъ, но защищаютъ нѣкоторую дозу его въ примѣненіи къ тому, что

заслуживаетъ порицанія. Однако гнѣвъ или гнѣвливость не можетъ дѣлиться на доли, она есть общее свойство характера, которое, разъ оно присутствуетъ въ душѣ, будетъ брызгать ядовитой пѣной во всѣ стороны.

Такимъ образомъ, въ дѣлѣ выработки воли, гнѣвливость воспитателя можетъ служить лишь крайне вреднымъ препятствіемъ. Тоже самое должно сказать и о наклонности многихъ наставниковъ унижать, позорить и стыдить провинившихся питомцевъ. Пусть воспитанникъ, поскользнувшійся на стезѣ добра, стыдится своей слабости, краснѣетъ за свои увлеченія, но пользоваться этими слабостями, какъ предлогомъ, чтобы покрыть срамомъ всю личность оплошавшаго, могутъ только люди, которыхъ должно держать какъ можно дальше отъ предѣловъ школы. Еще Локкъ замѣтилъ, что стыдъ у дѣтей занимаетъ такое-же мѣсто, какое у женщинъ занимаетъ стыдливость, которая обращается въ безстыдство, если ее часто и грубо оскорбляютъ. Вообще нужно сказать, что воспитательной строгости не слѣдуетъ быть слишкомъ прямолинейной и задаваться цѣлью сразу «переломить» дѣтскую или юношескую природу. Встрѣчаясь съ укоренившимся порокомъ, школа не должна выдвигать ребромъ свои запреты, вооруженныя мѣрами взысканія. Порочность нуждается во времени для своего утвержденія и еще въ большемъ времени для искорененія: извѣстно, что болѣзнь входитъ въ человѣчeskій организмъ пудами, а выходитъ мелкими золотниками. Воспитательное воздѣйствіе, не мечтая о внезапныхъ перерожденіяхъ своихъ питомцевъ, должно довольствоваться тѣмъ, если ему удастся все больше и больше увеличивать разстояніе между фактами проявленія бѣса, изгоняемаго изъ юной души. ✕

IV.

Говоря о строгости, дисциплинирующей и укрѣпляющей волю воспитываемаго, мы далеки отъ желанія видѣть въ школѣ драконовскій режимъ. Авторитетъ наставника, твердый и послѣдовательный, необходимъ для возбужденія въ ребенкѣ

или юношѣ чувства долга, для водворенія въ его душѣ сознанія, что не онъ есть центръ міра, но что надъ его волею есть высшая воля, которой ему слѣдуетъ повиноваться. Тѣмъ не менѣе, истинный воспитательный авторитетъ не ограничивается простымъ насиліемъ, однимъ внѣшнимъ принужденіемъ, которое можетъ вызвать только рабскую покорность и механическое повиновеніе. Крайне необходимо, чтобы воспитанникъ видѣлъ въ руководящей имъ власти не личный капризъ наставника, а какъ-бы голосъ самого нравственнаго закона, говорящаго устами воспитателя. При такомъ пониманіи авторитета, повиновеніе ему становится не унижительнымъ пресмыканіемъ передъ своевольнымъ командованіемъ лица А или В, а возвышающимъ челоуѣка подчиненіемъ дисциплинѣ нравственнаго идеала. Каждому челоуѣку предстоитъ въ жизни «слушаться команды», повиноваться велѣнію долга, общаго блага, того или инаго уклада общежитія, — и воспитаніе должно приготовить насъ къ этому. Но жизнь не вся состоитъ изъ такихъ движеній сплошнымъ строемъ. Челоуѣкъ постоянно чувствуетъ себя въ необходимости дѣйствовать и по личной инициативѣ, опережать общее движеніе или идти окольной, самостоятельной тропинкой, гдѣ нѣтъ напередъ данныхъ маршрутовъ и гдѣ не раздаются ничьи командныя слова. Здѣсь намъ приходится рѣшаться на собственный страхъ, проявлять нашу личную нравственную физиономію. Если бы воспитаніе ограничивалось однимъ дисциплинированіемъ нашей души, то оно останавливалось-бы на половинѣ дѣла, оно создавало-бы людей, готовыхъ въ путь, но неспособныхъ идти. Тутъ было-бы то же, что въ широкомъ масштабѣ видимъ въ восточныхъ народностяхъ. Громадныя части челоуѣчества, вполнѣ дисциплинированныя, готовы, кажется, двинуться впередъ, и между тѣмъ остаются оцѣпенѣлыми въ апатичной неподвижности. Въ нихъ нѣчто отсутствуетъ, чего-то недостаетъ, и онѣ ожидаютъ этого недостающаго столѣтіе за столѣтіемъ. Имѣвъ силы сдѣлать первый шагъ, онѣ не въ состояніи сдѣлать втораго, потому что суровыя религіи, давшія страшную санкцію обычаю и закону, государственный деспотизмъ, послужившій въ свое время мо-

гучей политической амальгамой, не хотятъ удѣлить мѣста самостоятельному проявленію и упражненію силъ человѣческаго ума и сердца.

Такимъ образомъ, воспитаніе предъявляетъ питомцамъ извѣстныя требованія (вытекающія изъ руководящихъ идеаловъ), какъ непреложный законъ, но оно должно избѣгать казуистическихъ регламентацій, назойливаго руководства, которое-бы опутывало будущаго гражданина тысячью невидимыхъ нитей и мѣшало-бы ему упражнять свою волю и выработывать сознаніе отвѣтственности за свои самостоятельные поступки. Было-бы крайне неразумно, изъ опасенія дурныхъ рѣшеній, парализовать самую способность человѣка рѣшаться, уничтожать способность дѣлать свободный выборъ между мотивами дѣйствій, устранять предвидѣніе неудобствъ на избранномъ пути и рѣшимость бороться съ ними. Вотъ почему, по вѣрному замѣчанію Селли, власть и авторитетъ школы составляютъ какъ-бы лѣса, имѣющіе необходимое временное назначеніе въ созиданіи самостоятельной привычки поступать должнымъ образомъ. Подъ охраной воспитательнаго авторитета, вырабатываются желательныя русла, по которымъ направляется теченіе активности будущихъ членовъ общества. Здѣсь культивируются надлежащимъ образомъ привычки, играющія чрезвычайно важную роль въ нашей дѣятельности, такъ какъ, по словамъ Лейбница, три четверти всего, что человѣкъ дѣлаетъ, говоритъ, даже думаетъ, обусловливается ими. Правда, въ поступкахъ, совершаемыхъ по привычкѣ, есть что-то не свободное, какъ-бы отрѣшенное отъ самостоятельности и сознательности нашей воли (таково мнѣніе Канта). Привычка, какъ говорилъ Монтэнъ, начинается мягко и кротко, но она скоро поворачиваетъ къ намъ свой властный, тираническій ликъ. И тѣмъ не менѣе, педагогія, со временъ Аристотеля и раньше, справедливо считала своимъ долгомъ трудиться надъ воспитаніемъ добрыхъ привычекъ. Въ нихъ хорошія человѣческія побужденія находятъ удобный волевой аппаратъ. Нельзя быть всегда готовымъ къ бою; жизнь человѣка перемежается моментами, когда его энергія и воля отдыхаютъ, и тутъ-то, на стражѣ добродѣ-

тели отъ внезапныхъ атакъ дурныхъ страстей, стоятъ и защищаютъ добрыя привычки.

Строгость вовсе не есть единственное средство воспитанія, стоящаго на христіанскомъ базисѣ. Мораль языческой древности, правда, дышала ледяной суровостью: она старалась обезпечить человѣку добродѣтельную устойчивость, выдвигая неисполнимые рецепты, требуя совершеннаго изгнанія изъ человѣческой души всѣхъ страстей, полнаго опустошенія сердца и обращенія его въ унылый храмъ холоднаго разума. Но христіанская мораль пошла по пути, гораздо болѣе вѣрному, съ психологической точки зрѣнія. Въмѣсто неосуществимаго изгнанія чувства и страсти, она озаботилась водвореніемъ въ человѣкѣ высшихъ, благородныхъ чувствъ, которыя уже собственной силой укрощаютъ и отодвигаютъ въ сторону дурныя эмоціи. Христіанство задалось цѣлью зажечь въ людяхъ огонь любви къ идеалу совершенства, вѣру въ промыселъ, надежду на справедливый судъ, и этимъ была обезпечена истинная нравственная стойкость, которая стала достояніемъ не отдѣльныхъ, рѣдкихъ единицъ (какъ въ языческой древности), а дала тысячи тысячъ примѣровъ героизма на протяженіи ряда столѣтій.

Таковъ-же истинный методъ дѣйствія и современной христіанской школы. Она должна выработывать непоколебимость духа своихъ питомцевъ, неустанно вливая въ ихъ сердце любовь къ идеалу чести и добра. Струя этой любви послужитъ въ юной душѣ основною нитью, вокругъ которой стануть кристаллизоваться всѣ добрыя свойства человѣческой природы; съ тѣмъ вмѣстѣ получится брезгливое отношеніе ко всему низменному и пошлomu, создастся воля, устойчивая въ добрѣ, и благородно-непреклонный характеръ. «Да, но какъ именно достигнуть этого?» можетъ спросить скептической наставникъ. Коренной отвѣтъ на заданный вопросъ таковъ: будь истинно честенъ самъ, пламенѣй искренно жаждой добра, раздуй какъ можно ярче въ своемъ сердцѣ искру любви, иди впередъ, чуждаясь хитрости, лукавства, и тогда ты можешь допустить въ свою совѣсть радостную надежду, что тебя не оставятъ одного на твоёмъ пути. Наша современность вопліяъ убѣж-

дена въ заразности многимъ болѣзней; прилипчивость пороковъ также считается доказаннымъ фактомъ, подвергается сомнѣнію только способность добрыхъ качествъ переходить отъ человѣка къ человѣку. Однако-же, эта способность не менѣе достовѣрна; ея примѣры, во всякомъ случаѣ, болѣе знакомы каждому изъ насъ, чѣмъ дѣйствіе бациллъ и «запятыхъ», въ могущество которыхъ мы такъ твердо вѣримъ.

Нисколько не роняя своего достоинства, воспитатель можетъ лаской и одобреніемъ поощрять своихъ питомцевъ въ ихъ трудной работѣ нравственнаго преуспѣянія. Такъ называемыя «награды» одобряются почти всѣми педагогами и примѣняются въ школахъ всего міра, но иногда смыслъ, придаваемый имъ, бываетъ не чуждъ искаженій. Часто награду бросаютъ, какъ лакомый призъ, въ отвратительную свалку школьнаго соревнованія. «Вотъ что ожидаетъ побѣдителя!» восклицаетъ наставникъ, держа награду надъ юнымъ лицомъ, копошачимся вокругъ него; и глаза воспитанниковъ разгораются, жадно устремляясь на приманку. Но не туда должны быть прикованы взоры питомцевъ школы, понимающей свое значеніе. Не лакомый, бранный пустякъ долженъ воспламенить ихъ душу, а яркая звѣзда моральнаго идеала. Указанный способъ примѣненія наградъ обличаетъ какъ-бы сомнѣніе самихъ воспитателей въ прелести истинной цѣли воспитанія, потому что тутъ происходитъ какой-то подкупъ въ пользу добра, подмѣна предметомъ, будто-бы истинно-цѣннымъ, чего то какъ-бы мнимаго. Воспитанника низводятъ здѣсь до положенія лѣниваго осла, впереди котораго, чтобъ онъ шолъ, привязываютъ на палкѣ клочекъ сѣна.

Дѣйствуя такимъ «ослинымъ» методомъ, часто облачаютъ награды въ формы, которыя могутъ вести къ результатамъ антиморальнаго характера. Отличившимся маленькимъ дѣтямъ даютъ лакомства или лучшую, сравнительно съ товарищами, пищу, отравляя такимъ образомъ молодую душу ужасной привычкой самодовольно ѣсть въ то время, когда другіе не ѣдятъ. Одаряютъ также преуспѣвшихъ деньгами, хотя этому обоюдоострому оружію не должно быть мѣста въ воспитаніи: допущеніе денегъ въ школу распаиваетъ ея окна на базаръ

житейской суеты, съ ея мало назидательнымъ гамомъ. Часто записываютъ имена награждаемыхъ на доскѣ, которую выставляютъ въ классѣ, на разжиганіе зависти и тщеславія. Нѣкоторые французскіе педагоги проектировали даже установить особенные знаки отличія или ордена для раздаванія въ школахъ, а циркуляръ французскаго министерства (1864 г.) настаивалъ, чтобы «въ каждой деревушкѣ были годовичные праздники учащейся молодежи и труда, съ распредѣленіемъ наградъ, безъ чего въ школахъ замѣчается мало соревнованія». Но это уже прямое проявленіе основнаго національнаго порока французовъ.

Истинный смыслъ награды заключается въ томъ, что она есть средство одобренія, идущаго отъ воспитателя къ тому воспитаннику, который обнаруживаетъ твердость на стезѣ добра. Ребенокъ и юноша, двигающіеся по пути усовершенствованія, не могутъ не испытывать, отъ времени до времени, колебаній и недоумѣній. И вотъ, обращая взоръ на воспитателей, идущихъ впереди по хорошо знакомой имъ дорогѣ, къ ясно различаемой ими цѣли, юные путники видятъ въ наградахъ какъ бы ободряющіе возгласы, воодушевляющіе жесты своихъ вождей, и успокоенные, съ новой энергіей, устремляются впередъ. Отсюда понятно, что лучшая форма награды состоитъ въ простой похвалѣ наставника; если же нужно во что бы то ни стало эту похвалу матеріализировать какимъ-либо образомъ, то пусть она обращается къ лучшимъ сторонамъ человѣческой природы, а не къ худшимъ. Вообще же награда должна увѣнчивать степень нравственной энергіи, а не количество успѣховъ. Пусть уже впоследствии жизнь рукоплещетъ героямъ количественнаго успѣха, ловкому пройдохеству и баловнямъ слѣпой удачи, но школа должна честно дѣлать свое дѣло. Нецѣлесообразно также увѣнчивать наградами юныхъ счастливыхъ, осыпанныхъ случайными дарами природы: въ награжденіи богато одаренныхъ дѣтей и юношей за ничего не стоящія имъ учебные успѣхи, такъ же мало педагогическаго смысла, какъ и въ премірованіи красавицъ.

Кромѣ прямыхъ, положительныхъ воздѣйствій, воспитаніе не можетъ не пользоваться отрицательными мѣрами. Жизнь

полна соблазновъ, многія стороны ея насквозь проникнуты ядовитой отравой, причѣмъ гнилое содержимое часто является прикрытымъ самой увлекательной оболочкой. Школа обязана защищать своихъ питомцевъ отъ такого обмана, обязана тщательно дезинфицировать свою атмосферу отъ всякихъ заражающихъ дуновеній, которыя врываются изъ-внѣ. Нельзя не скорбѣть о томъ, что учебныя заведенія обыкновенно сосредоточиваются въ большихъ городахъ, вмѣсто того, чтобы быть поближе къ свѣжему простору сельской природы, къ чистому воздуху полей. Ничего нѣтъ печальнѣе, чѣмъ зрѣлище просачиванія уличной грязи въ питомникъ будущихъ гражданъ и членовъ общества. Когда приходится видѣть, что школа своимъ лицепріятіемъ приучаетъ воспитанниковъ къ неприглядной оборотной сторонѣ общественнаго неравенства, прививаетъ имъ наклонность мѣрять человѣческое достоинство не мѣрою нравственной цѣнности, а желѣзнымъ аршиномъ богатства и удачи (что вноситъ съ собою язву чваннаго соперничества и страшную петлю жизни не по средствамъ), когда мы видимъ небрежность школы, позволяющей дѣтямъ и юношамъ растлѣваться впечатлѣніями улицы, ресторана и пр., — тогда сама собою въ насъ слагается горячая молитва объ избавленіи страны отъ такихъ очаговъ развращенія.

Воспитаніе не есть хирургія, знающая только отсѣченіе «гангренозныхъ членовъ». Школа — питомникъ человѣческихъ душъ и характеровъ въ самомъ нѣжномъ фазисѣ ихъ развитія. Здѣсь нѣтъ предѣловъ для разумной, тактичной и любовной заботливости, здѣсь ничто не можетъ быть настолько мелкимъ, чтобы не возбуждать къ себѣ серьезное, вдумчивое отношеніе. Какъ часто во время сказанное слово, ласковая улыбка, строгая угроза или вниманіе бодрствующаго надзора, спасаютъ юное сердце на краю бездны, или выручаютъ его въ критическій моментъ душевной драмы! Подъ ударами бури погибаютъ большіе и крѣпкіе корабли, причѣмъ нерѣдко маленькая лодка даетъ утопающимъ спасеніе.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Воспитательное дѣло въ Россіи.

I.

Сдѣлаемъ нѣсколько наблюденій относительно положенія воспитательнаго дѣла въ Россіи, не выходя изъ предѣловъ текущаго столѣтія. Обращаясь мыслью къ быту нашей средней школы до 50-хъ годовъ, мы находимъ въ немъ много педагогическихъ недостатковъ, много грубости и жестокости. Но есть черта въ этомъ быту, которую нельзя не счесть за крупное достоинство. Наша школа указаннаго времени держалась — часто лишь инстинктивно и безсознательно — традицій родной старины. Эта школа не специализировалась на одномъ умственномъ образованіи, не принимала на себя узкаго характера исключительно «учебнаго» заведенія, а ревностно удерживала за собой и воспитательныя обязанности. Такимъ образомъ, она держалась того направленія, на которое ступило съ самого начала русское просвѣщеніе, не отдѣлявшее дѣла снабженія ума знаніями отъ руководства сердцами по пути благочестія и правды. Въ лицѣ древняго просвѣтителя сливались внутренно и неразрывно учитель и наставникъ. Гимназіи первой половины настоящаго вѣка сохраняли эту тенденцію. Пересматривая обильную литературу «воспоминаній», мы твердо убѣждаемся въ названномъ фактѣ. Одна хроника С. И. Аксакова рисуетъ передъ нами цѣлую портретную галерею учителей, не замыкавшихся въ отбываніи уроковъ и лекцій, а чувствовавшихъ на себѣ обязанность блюсти, по мѣрѣ силъ и разумѣнія, ввѣренное имъ юное стадо. Одни изъ нихъ осуществляли эту обязанность трогательными ласками къ дѣтямъ, почти-материнскими заботами о нихъ (Улыбышевъ); другіе облакали исполненіе своего долга въ формы мелочнаго педантизма, третьи шли въ этомъ отношеніи до высокихъ степеней спартанской суровости. Быть

можетъ, большинство склонялось къ этой именно суровой методѣ, хотя едва-ли въ силу такого режима школа приводила своихъ питомцевъ къ состоянію оцѣпенѣлаго ужаса или какого-либо хроническаго унынія. По крайней мѣрѣ, упомянутый выше Аксаковъ (между многими другими такого-же рода свидѣтелями) говоритъ о своихъ товарищахъ: «всѣ были здоровы, довольны и нестерпимо веселы, такъ что я не встрѣчалъ ни одного сколько нибудь печальнаго или задумчиваго мальчика».

Впрочемъ, мы отнюдь не имѣемъ намѣренія защищать старыя педагогическія методы; мы склонны даже думать, что въ тѣ времена и вовсе не было методы или системы, которая замѣнялась инстинктами, темпераментами и другими индивидуальными свойствами отдѣльныхъ личностей учебнаго персонала. Мы указываемъ только на общую тенденцію къ фактическому соединенію нравственнаго воспитанія съ умственнымъ образованіемъ, хотя воспитательное дѣло официальнымъ образомъ было часто обособлено и весьма слабо организовано. Названная тенденція имѣла настолько широкое распространеніе, что ей слѣдовали даже такіе представители школьнаго міра, которые, казалось, должны были стоять въ сторонѣ отъ всякихъ воспитательныхъ задачъ. Вспомнимъ для примѣра жалкіе образы учителей, которые, въ каррикатурномъ видѣ и съ насмѣшливымъ презрѣніемъ, начерчены Костомаровымъ въ его воспоминаніяхъ объ учебныхъ годахъ. И что-же? Даже эти лица тянулись за общимъ направленіемъ времени, даже они, по мѣрѣ своихъ слабыхъ силъ, старались воздѣйствовать на учениковъ воспитательнымъ образомъ. Одинъ изъ этихъ учителей, говоритъ Костомаровъ, «добродѣтели римлянъ выставлялъ очень не кстати и смѣшно образцомъ для подражанія», другой постоянно находился въ страхѣ, «чтобы не вселился въ него бѣсъ и тотъ-же страхъ онъ старался водворить и въ каждомъ изъ воспитанниковъ». Не смотря на забавность этихъ примѣровъ, они весьма характеристичны.

Но вотъ, подошелъ конецъ 50-хъ годовъ и 60-ые годы. Наступилъ обильный притокъ западныхъ вліяній, выдвинулись

быстрыя реформы и совершился горячій подъемъ всякихъ общественныхъ эмоцій. Этотъ періодъ нашей исторіи совпалъ случайно съ моментомъ, когда на Западѣ педагогія преисполнилась скептическимъ отношеніемъ къ задачамъ нравственнаго воспитанія, когда тамъ доказывалось съ большимъ успѣхомъ, что прогрессъ человечества обуславливается только умственными преуспѣянiami, и когда въ западныхъ семействахъ водворялось, по выраженію Легуве, царство «юныхъ отцовъ» и «зрѣлыхъ дѣтей». Всѣ эти модныя увлеченія незамедлили отразиться у насъ, съ тѣмъ утрированіемъ, какимъ всегда и во всемъ запечатлѣна подражательность. Мнѣнія «лучшей части общества» (какъ эта часть начала называть сама себя) успѣшили отвернуться отъ старыхъ поползновеній школы къ воспитанію, и Писаревъ изложилъ, среди горячихъ одобреній, свои «педагогическіе» взгляды. Онъ писалъ: «Чѣмъ раньше молодая личность становится въ скептическія отношенія къ своимъ наставникамъ, тѣмъ лучше. Стать же въ такія отношенія легче къ дураку, чѣмъ къ умному человѣку, а потому я рѣшаюсь признать положительно полезнымъ то обстоятельство, что нашимъ воспитаніемъ занимались и занимаются большею частью не далекіе люди. Развиваться подъ руководствомъ наставника, мнѣ кажется, положительно невозможно. Врываться съ своей инициативой въ интеллектуальный міръ другаго человѣка безчестно и нелѣпо. Умный и широко развитой человѣкъ будетъ хорошо кормить ребенка, удалять отъ него вредные предметы, въ родѣ бѣшеной собаки, каленаго желѣза, сырой комнаты, угарнаго воздуха; на томъ онъ и остановится. Если воспитанникъ предложитъ ему вопросъ, онъ ему отвѣтитъ; если ребенокъ принесетъ на его судъ какое-нибудь сомнѣніе, онъ ему выскажетъ свое убѣжденіе. Кто попытается сдѣлать больше этого, тотъ значитъ не настолько умень и широко развитъ, чтобы быть безвреднымъ сознательно и добровольно; въ такомъ случаѣ, пусть онъ будетъ лучше безвреденъ неволью, вслѣдствіе безсилія. Если нельзя найти человѣка очень умнаго, возьмите очень глупаго. Результатъ получится почти въ такой-же мѣрѣ удовлетворительный, а людей глу-

ныхъ очень много, особенно между педагогами. Стало бытъ выйдетъ дешево и сердито».

Эта теорія, по истинѣ «дешевая и сердитая», пытается «отмѣнить» воспитаніе, что однако-же фактически невозможно, ибо хотимъ-ли мы, или не хотимъ, мы всегда воспитываемъ дѣтей и юношей, съ которыми соприкасаемся. Все, что мы говоримъ и дѣлаемъ, все это производитъ на нихъ такое или иное впечатлѣніе, а слѣдовательно, такъ или иначе воспитываетъ ихъ. Значитъ, вопросъ здѣсь заключается лишь въ томъ, нужны-ли при указанномъ воздѣйствіи осторожность, вдумчивость, методичность и пр. Теорія Писарева старается освободить молодежь отъ наставниковъ, не понимая, что такимъ образомъ она создаетъ вокругъ дѣтей сиротливую пустоту, лишаетъ опоры слабыя сердца и неокрѣпшія воли. Само собою ясно, что такая жестокая «эмансипація» могла породить лишь печальныя «молодыя личности со скептическимъ отношеніемъ» ко всему, кромѣ собственного недомыслія и эгоизма.

Казалось-бы, что для постиженія неосновательности цитированныхъ взглядовъ не требовалось особеннаго изощренія критики, но нужно помнить общія свойства времени, густой туманъ «послѣднихъ словъ науки», непереваренныхъ заимствованій и бродящихъ въ тѣмѣ неопредѣленныхъ чувствъ. Мало по малу, вопросы воспитанія погрузились въ хаосъ недоумѣній, о которыхъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ дневникъ Никитенки: «Меня приглашала г-жа Л., — читаемъ здѣсь, — посоветоваться о воспитаніи своихъ дѣтей, двухъ мальчиковъ и одной дѣвочки. Какъ всѣ родители нашего времени, не исключая и меня самого, она не знаетъ, что съ ними дѣлать. Въ такомъ хаосѣ находятся наши школы. Педагогія наша съ новыми взглядами, теоріями и пр. пришла, наконецъ, въ такое состояніе, что рѣшительно всѣхъ запутываетъ. А между тѣмъ матеріалистическое и нигилистическое направленіе растетъ въ юношества и грозитъ приготовить изъ него дурныхъ людей и дурныхъ гражданъ». Но, въ нестройномъ хорѣ мнѣній и порываній эпохи, можно все-таки уловить основную ноту, которая заключалась въ стрем-

леніи обратить школу въ исключительное орудіе умственнаго развитія учениковъ, при полномъ безучастіи къ формированію ихъ нравственнаго міра.

Наиболѣе энергичной мѣрой противодѣйствія упомянутымъ односторонностямъ и смутамъ явился Уставъ гимназій 1871 г. Въ объяснительной запискѣ къ нему мы встрѣчаемся съ чрезвычайно отчетливой и вѣрной постановкой дѣла: «Воспитаніе и преподаваніе, — читаемъ здѣсь, — суть двѣ задачи, въ гимназіяхъ нераздѣльныя. Цѣль этихъ учебныхъ заведеній состоитъ не только въ сообщеніи вѣренному имъ молодому поколѣнію свѣдѣній, нужныхъ для позднѣйшихъ научныхъ занятій, или въ жизни, но и въ нравственномъ воспитаніи своихъ учениковъ. Учителя не простые даватели уроковъ, ихъ обязанности не могутъ ограничиваться преподаваніемъ и наружнымъ поддержаніемъ порядка во время урока. Такое ограниченіе круга учительской дѣятельности ведетъ къ ослабленію нравственнаго вліянія училища на учениковъ, ибо слабость авторитета учителей не можетъ быть возмѣщена усиленіемъ авторитета директоровъ и инспекторовъ, который, при невозможности для начальствующихъ лицъ входить въ личныя сношенія со всѣми учениками, было-бы весь употребленъ на поддержаніе лишь формальной дисциплины, что совершенно недостаточно». Эти прекрасныя мысли однако-же не осуществлены вполнѣ въ первоначальномъ видѣ Устава. Онѣ встрѣтили препятствіе въ общемъ духѣ интеллектуализма, которымъ была проникнута педагогія того времени. Къ тому-же, этотъ интеллектуализмъ въ Уставѣ сливался съ увлеченіями классицизмомъ и съ излишне высокой оцѣнкой просвѣтительной важности изученія греко-латинской грамматики и словесности.

Между нововведеніями гимназической реформы особенное значеніе въ воспитательномъ отношеніи имѣетъ институтъ классныхъ наставниковъ. Въ лицѣ этихъ наставниковъ, дѣйствительно, можно видѣть руководителей, постоянно готовыхъ придти на помощь нравственнымъ нуждамъ юныхъ сердецъ и характеровъ; этимъ наставникамъ принадлежитъ роль истинныхъ вождей шумной школьной толпы на трудномъ пути

моральнаго совершенствованія. Но первоначальная постановка названнаго института наклонила его въ сторону попеченія объ учебномъ дѣлѣ и недостаточно ярко освѣтила его воспитательное значеніе. Такъ, въ § 62 устава читаемъ: «Классные наставники, будучи вообще ближайшими помощниками директора и инспектора въ наблюденіи за успѣхами и нравственностью учениковъ, ввѣренныхъ каждому изъ нихъ классовъ, принимаютъ надлежащія мѣры для преуспѣванія оныхъ, вступая, между прочимъ, съ этою цѣлью въ сношенія съ родителями учениковъ, а равно и съ прочими преподавателями своего класса, въ тѣхъ видахъ, чтобы уроки были равномерно распредѣляемы по днямъ недѣли и чтобы вообще преподаваніе одного предмета не стѣсняло преподаванія др. предметовъ». Совершенно ясно, что цитированный параграфъ полагаетъ центръ тяжести обязанностей наставниковъ въ надзорѣ за учебной жизнью класса, за его успѣхами, за ходомъ преподаванія въ немъ, и пр. Правда, объяснительная записка настаиваетъ на воспитательномъ долгѣ наставника, говоря, что онъ обязанъ «смотреть на себя, какъ на ближайшаго попечителя и руководителя какъ всѣхъ учениковъ своего класса вмѣстѣ, такъ и cadaго изъ нихъ въ отдѣльности, во всѣхъ отношеніяхъ, подлежащихъ вѣдѣнію учебнаго заведенія». Но и записка обнаруживаетъ какъ-бы нерѣшительность при вмѣненіи своихъ справедливыхъ пожеланій въ непремѣнную обязанность наставниковъ. Такъ, напр., она предупредительно замѣчаетъ, что посѣщеніе учениковъ на ихъ квартирахъ не возлагается на классныхъ наставниковъ, что наблюденіе за учениками въ классное время въ корридорахъ, а равно и внѣ стѣнъ учебнаго заведенія, возлагается на помощниковъ классныхъ наставниковъ, и т. д. Дальнѣйшія распоряженія проникнуты такимъ же духомъ, ибо стремятся оградить институтъ наставниковъ отъ «преувеличенныхъ требованій» и разъясняетъ, что отъ классныхъ наставниковъ нельзя требовать ни безотлучнаго пребыванія въ заведеніи во все классное время, ни срочнаго посѣщенія учениковъ на ихъ квартирахъ, ни срочнаго представленія обширныхъ письменныхъ отчетовъ о наблюденіяхъ относительно

каждаго ученика въ отдѣльности, и что вообще «слѣдуетъ требовать отъ нихъ какъ можно меньше всякаго рода формальностей, а какъ можно болѣе дѣйствительнаго наблюденія за ходомъ учебно-воспитательнаго дѣла въ классѣ (распор. отъ 21 авг. 1872 г.)».

Мы затрудняемся понять, почему нельзя требовать, чтобы наставникъ не бросалъ свой классъ безъ уважительныхъ причинъ, чтобы онъ не откладывалъ въ долгій ящикъ своихъ посѣщеній воспитанниковъ? Едва-ли также отчеты о педагогическихъ наблюденіяхъ составляютъ лишь пустую формальность, тогда какъ они, на самомъ дѣлѣ, часто имѣютъ не меньшую важность, чѣмъ скорбные листы клиникъ; въ этихъ отчетахъ какъ-бы отверженный трудъ наставниковъ, а вмѣстѣ и документъ, дающій гарантію отъ воспитательскаго произвола. Чтобы уяснить себѣ вредное дѣйствіе упомянутыхъ облегчительныхъ распоряженій, нужно вспомнить, что жизненная практика и сама имѣетъ всегдашнюю склонность къ упрощенію и уменьшенію вѣса и мѣры обязанностей. Удивительно ли, въ виду этого, что важный по идеѣ институтъ разрѣшился результатами, неоправдавшими ожиданій? Удивительно-ли, что всѣ воспитательныя задачи, всѣ эти отношенія къ родителямъ и пр., свелись къ одной лишь подписи наставника подъ выдаваемыми ученикамъ «свѣдѣніями объ успѣхахъ», и что только одна эта надпись свидѣтельствуешь о существованіи должности наставника и о томъ, кто изъ учителей занимаетъ ее для даннаго класса?

Объяснительная записка, озабоченная поднятіемъ уровня личнаго состава разсматриваемаго института, указываетъ соотвѣтственные гарантіи, которыя, однако-же, вызываютъ критическое къ себѣ отношеніе. Такъ записка говоритъ, что изъ лучшихъ классныхъ наставниковъ по преимуществу должны быть назначаемы директора и инспекторы, что при представленіи учителей къ денежнымъ и почетнымъ наградамъ должно дѣлать предпочтеніе тѣмъ, которые наиболѣе успѣшно исполняютъ обязанности классныхъ наставниковъ, что лучшимъ изъ нихъ слѣдуетъ предоставлять по возможности казенныя квартиры. Но всѣ подобныя приманки чиновничьяго

характера не могут имѣть особеннаго значенія въ дѣлѣ, требующемъ специальныхъ наклонностей и спеціальнаго душевнаго склада. Нѣкоторыя-же изъ предложенныхъ Запискою гарантій являются даже, на первый взглядъ, загадочными. Напримѣръ, первымъ условіемъ, обезпечивающимъ хорошее исполненіе обязанностей наставника, Записка считаетъ порученіе ихъ тѣмъ учителямъ, у которыхъ наибольшее число уроковъ. На этомъ пунктѣ нельзя не остановиться въ недоумѣніи, такъ какъ, казалось-бы, чѣмъ больше лицо обременено преподавательскимъ трудомъ, тѣмъ меньше оно имѣетъ возможности посвящать себя не легкому дѣлу воспитанія.

Недоумѣніе наше разрѣшается тотчасъ-же, если мы вспомнимъ, что «наибольшее число уроковъ» въ классѣ приходится на долю учителей древнихъ языковъ. Уставъ, въ его первоначальномъ видѣ, проявляетъ здѣсь свое увлеченіе классицизмомъ, вѣря въ наибольшую пригодность къ педагогическимъ обязанностямъ преподавателей-классиковъ и стремясь всѣми силами поставить ихъ въ возможно лучшія матеріальныя условія. Мы уже говорили раньше, что воспитательное значеніе классическихъ наукъ проблематично; здѣсь можно тоже сказать и о презумпціи относительно присущихъ будто бы учителямъ-классикамъ особенныхъ педагогическихъ способностей. Но увлеченія, господствовавшія двадцать лѣтъ тому назадъ, держались крѣпко своей излюбленной идеи. Даже въ отвѣтъ на шедшія изъ гимназій замѣченія, что лица, которымъ принадлежитъ наибольшее число уроковъ, могутъ «не обладать надлежащей степенью опытности въ дѣлѣ воспитанія», упомянутыя увлеченія заявляли, будто эта опытность «не составляетъ условія совершенно необходимаго», такъ какъ «въ странахъ, гдѣ институтъ классныхъ наставниковъ вполне развился и приноситъ наиболѣе благотворные плоды, въ эту должность весьма нерѣдко назначаются совершенно молодые преподаватели, только что начинающіе свое поприще, для которыхъ должность наставника можетъ послужить отличною школою практической педагогики». Едва ли эти западные примѣры говорятъ убѣдительно, чѣмъ слова врача въ одной изъ бесѣдъ Сократа: «Афиняне, я

весьма мало понимаю во врачебномъ дѣлѣ, но вы дайте мнѣ лекарскую должность: я постараюсь изучить дѣло, практикуясь на васъ».

Уже изъ немногого сказаннаго выяснились причины, почему прекрасно задуманный и чрезвычайно важный институтъ классныхъ наставниковъ не оправдалъ на практикѣ надеждъ и сталъ формальной синекурою. За бездѣятельностью-же наставниковъ, не только «ближайшій надзоръ», а и все «воспитаніе» перешло на долю ихъ помощниковъ. Но такъ какъ правила дозволяютъ назначать послѣднихъ изъ лицъ, «которые учились по меньшей мѣрѣ въ уѣздныхъ училищахъ или низшихъ классахъ гимназій (распор. 21 сент. 1871 г.)», то и оказывается, что новые помощники классныхъ наставниковъ мало чѣмъ отличаются отъ прежнихъ надзирателей, и что прекрасная мысль о соединеніи нравственнаго воспитанія съ умственнымъ образованіемъ остается безъ выполненія.

Нельзя, однако-же, отрицать того, что позднѣйшія мѣропріятія стремятся оживить институтъ наставниковъ. Такъ, инструкція 1877 года, отбрасывая первоначальную нерѣшительность, ставитъ уже прямо въ обязанность классныхъ наставниковъ посѣщать квартиры учениковъ, вести записную книгу, въ которую вносить все важное по учебно-воспитательной части всего класса и каждаго изъ учениковъ; изучать причины малоуспѣшности воспитанниковъ, руководить чтеніемъ этихъ послѣднихъ, входить въ непосредственныя сношенія съ родителями, назначать особые часы въ недѣлѣ для такихъ сношеній, представлять въ извѣстные сроки въ педагогическій совѣтъ гимназій отчеты объ умственномъ и нравственномъ состояніи своего класса, и т. д. Кромѣ названной инструкціи, необходимо вспомнить «Правила для учениковъ гимназій», а также «Правила о взыскаціяхъ», къ которымъ приложена Объяснительная записка, заключающая въ себѣ много замѣчаній высокаго моральнаго значенія. Здѣсь, помимо отрицательныхъ или репрессивныхъ воспитательныхъ мѣръ, вѣрно указана важность положительныхъ способовъ дѣйствія. Въ запискѣ мы читаемъ о важности примѣра самихъ наставниковъ, о преподаваніи, которое должно

не только сообщать познанія, но и направлять волю къ добру и правдѣ, наполнять душу высокими стремленіями; далѣе, о дисциплинѣ, какъ школѣ развитія въ дѣтяхъ самообладанія, о надлежащихъ способахъ примѣненія наказаній и наградъ, причемъ записка мудро обходитъ обычныя, но по существу сомнительныя средства, каковы рычаги соперничества, честолюбія и пр.

Отдавая должную дань уваженія всѣмъ этимъ мѣрамъ и идеямъ, мы однако-же имѣемъ много официальныхъ данныхъ, которыя говорятъ объ изъятияхъ въ практикѣ внутренняго быта нашей школы. Въ этихъ данныхъ указывается, напр., на то, что ученики среднихъ учебныхъ заведеній не достаточно строго исполняютъ установленныя для нихъ правила, посѣщаютъ маскарады, трактиры, кофейни, биллиардныя, носятъ палки, курятъ табакъ и пр. Въ связи съ такими указаніями, дѣлаются повторительныя замѣчанія о томъ, что «наставники юношества не принимаютъ мѣръ къ поддержанію дисциплины, безъ которой учебныя заведенія становятся школой лѣности, нерадѣнія и всякой нравственной испорченности и разнузданности, и самое существованіе ихъ дѣлается не только бесполезнымъ, но даже вреднымъ, а слѣдовательно и невозможнымъ (мин. расп. отъ 20 ноября 1882 г.)».

На основаніи приведенныхъ соображеній и фактовъ, можно придти къ заключенію, что наша педагогическая практика не лишена недостатковъ, но что наше воспитательное дѣло, тѣмъ не менѣе, стоитъ на пути разумныхъ тенденцій, обещающихъ несомнѣнно лучшее будущее. Эта надежда особенно опирается на развитіе интернатовъ, которое составляетъ цѣль стремленій послѣдняго времени, и которое получить энергическій ходъ, когда общественныя силы, отрѣшившись отъ старыхъ предразсудковъ, придутъ на помощь этому важному дѣлу.

Ограничиваясь сказаннымъ о средней школѣ, перейдемъ къ высшей, къ университетамъ.

II.

На зарѣ текущаго вѣка, русская университетская жизнь заключала въ себѣ свойства, которыя кажутся странными человѣку нашего времени. Среди недостатковъ, присущихъ зачаткамъ cadaго дѣла, среди слабостей первоначальной организаціи университетовъ, въ этихъ послѣднихъ особенно ярко проявлялась своеобразная черта какой-то моральной приподнятости и оживленія. «Вѣстникъ Европы» за 1805 годъ, описывая бытъ петербургскихъ студентовъ, говорилъ между прочимъ слѣдующее о царившемъ въ этой средѣ горячемъ чувствѣ дружбы: «когда кто-нибудь изъ товарищей пріѣзжалъ въ Петербургъ,—какъ студенты встрѣчаютъ его! Сколько обниманій, поцѣлуевъ! При недостаткѣ въ деньгахъ, всякій изъ нихъ готовъ подѣлиться послѣднимъ. Они почитаютъ за стыдъ ожидать или просить помощи отъ людей постороннихъ, а особливо отъ знатныхъ. То, что называютъ въ университетскихъ питомцахъ застѣнчивостью, есть на самомъ дѣлѣ благородная гордость. Всякому извѣстны ихъ благородный образъ мыслей и чувствованій, ихъ честность и откровенность..» Аналогичное свидѣтельство даетъ и С. Аксаковъ, современникъ открытія университета въ Казани. Рассказывая о времени своего приготовленія въ открывавшійся университетъ и о первыхъ годахъ пребыванія въ немъ, авторъ «Семейной Хроники» замѣчаетъ: «Нельзя безъ удовольствія и уваженія вспомнить, какою любовью къ просвѣщенію было одушевлено тогда юношество. Прекрасное, золотое время! Время чистой любви къ знанію, время благородныхъ увлеченій!» Всѣ подобныя описанія, которыхъ можно было-бы привести много, уже тономъ своимъ свидѣлствуютъ о духѣ восторженности, которымъ дышала та далекая эпоха.

Самое преподаваніе въ университетахъ первой половины столѣтія преисполнено было морализирующихъ сентенцій, пафоса благочестія, патриотизма и т. д. Пироговъ однажды иронически замѣтилъ о профессорахъ своего учебнаго времени: «Нерѣдко на лекціяхъ изложеніе науки замѣнялось семейными хрониками и проповѣдями о нравственности». И

это замѣчаніе, оставляя въ сторонѣ его иронию, вполне справедливо. Дѣйствительно, лекціи и публичныя университетскія рѣчи пестрѣли словами: совѣсть, долгъ, мораль, религія, отечество. Даже преподаваніе такихъ наукъ, какъ медицина, не составляли въ этомъ смыслѣ исключенія. Такъ, авторъ Исторіи московскаго университета, Шевыревъ, говоритъ о проф. Мудровѣ, что онъ начиналъ свой курсъ внушеніемъ аудиторіи «идеала гиппократова врача, возвышеннаго христіанствомъ». Профессоръ внушалъ вѣроятно при этомъ, что медикъ не есть ремесленникъ, озабоченный лишь гонораромъ и готовый на всѣ штуки шарлатанства, ради обезпеченія выгодной репутаціи. Такая морализирующая тенденція была обычнымъ явленіемъ. Никитенко записалъ въ дневникѣ о своихъ лекціяхъ слѣдующее: «Главная задача моя въ самихъ идеяхъ, въ ихъ духѣ и въ словѣ, которое бы дѣйствовало на умы и пробуждало въ слушателяхъ стремленіе къ высокому, къ гуманному. Я желаю больше дѣйствовать на чувства и волю людей, чѣмъ развивать передъ ними теорію науки. Прежде всего надо стремиться къ образованію въ нихъ внутренней законодательной силы». Такимъ образомъ, университетскій режимъ отнюдь не чуждался воспитательнаго дѣла, а напротивъ, всѣми силами тяготѣлъ къ нему. Для всякаго ясно, что въ то время надъ нашими высшими школами еще не проносился вихрь ригористическаго реализма и безудержной критики, вихрь, который позже развѣялъ «наивный сентиментализмъ» и «назидательный пафосъ», вызвалъ скептицизмъ и вернулъ умы къ трезвой дѣйствительности, какъ будто мѣсто воспитанія челоѣчества лежитъ всецѣло въ грязи того, что есть, а не въ манящей выси долженствующаго быть.

Воспитательныя тенденціи стараго университета не замыкались въ назидательное слово, раздававшееся съ кафедры, а пытались войти активнымъ факторомъ въ студенческую жизнь, создавая здѣсь атмосферу патріархальнаго общенія учащихся и учащихся. Въ описаніяхъ той эпохи мы встречаемся съ профессорскими личностями, которыя не могутъ не поражать удивленіемъ нашъ взоръ. Такъ, авторъ книги:

«Изъ первыхъ лѣтъ Казанскаго университета» (1887 г., пр. Буличъ) говоритъ о проф. Яковкинѣ. «Онъ былъ виртуозомъ въ педагогическомъ дѣлѣ, настоящимъ здоровымъ воспитателемъ юношества, какихъ становится у насъ все меньше и меньше. Не сухія, абстрактно придуманныя правила вносилъ онъ въ свои отношенія къ молодому поколѣнію, а индивидуальный взглядъ. Юноша былъ передъ нимъ не отвлеченной единицей въ ряду другихъ, а живую личностью. Какъ умѣлъ Яковкинъ понять и оцѣнить натуру каждаго, подмѣтить ея особенности, направить ихъ, указать имъ полезную дорогу». Этотъ профессоръ-воспитатель сдѣлалъ свое семейство привѣтливимъ центромъ, куда стекалась молодежь; для нея-же онъ устраивалъ незатѣйливые праздники, и всѣмъ «жилось весело и безпритязательно». Нельзя сказать, чтобы въ основѣ педагогическихъ приѣмовъ здѣсь лежала одна ласка. Тутъ были и наказанія, черныя доски, карцеры; не примѣнялось только исключеніе воспитанниковъ изъ учебнаго заведенія. Добродушно семейный характеръ высшей школы обуславливалъ собою, напр., такія явленія, что Яковкинъ ставилъ провинившихся студентовъ въ уголъ аудиторіи, не смотря на ихъ шпаги.

Проф. Владимірскій-Будановъ, въ Исторіи университета св. Владиміра (1884 г.) приводитъ слѣдующія свидѣтельства о попечителѣ Кіевскаго учебнаго округа, Бадке: «студенты и воспитанники учебныхъ заведеній свято чтили его и горячо любили, какъ самаго вѣжнаго отца. Онъ ѣздилъ на квартиры больныхъ студентовъ, привозилъ съ собою медиковъ и лакомства» и пр. При какомъ-либо предосудительномъ случаѣ въ студенческой жизни, дѣлались «отеческія наставленія о томъ, что студенты, какъ образованные юноши, обязаны строго блюсти требованія нравственности» (Истор. Вѣстн. 1891 г., воспомин. о Харьковск. универ. г. Любарскаго). И эти внушенія не оставались тщетными. Въ одномъ письмѣ студента 30-хъ годовъ (приведено у пр. Владимірскаго-Буданова) читаемъ: «Какъ ни тягостно всякое наказаніе, но несравненно еще тягостнѣе для меня сносить невыгодное мнѣніе о себѣ моихъ начальниковъ». Только что названный

авторъ, правда, рисуеть дореформеннаго студента въ образѣ какъ-бы героя былинъ, въ видѣ челоуѣка разгула и кутежа, врага полиціи и уличныхъ фонарей, но самъ-же профессоръ замѣчаетъ, что студенты тѣхъ временъ были желанными и дорогими гостями въ обществѣ. И это подтверждается всѣми свидѣтельствами: «Мы играли въ Харьковскомъ обществѣ, — пишетъ г. Любарскій, — замѣтную роль, и ни одинъ балъ общественный или частный не обходился безъ кавалеровъ съ синими воротниками». Слѣдовательно, «богатыри былинъ» не были лишены тѣхъ свойствъ, которыя дѣлають челоуѣка удобнымъ и пріятнымъ въ общежитіи.

Пр. Владимірскій-Будановъ приводитъ изъ университетскихъ архивовъ рядъ студенческихъ проступковъ весьма антиморальнаго свойства, но въ этихъ примѣрахъ отличительнымъ признакомъ времени служить не столько ихъ предосудительность, сколько слѣдъ, который они оставили по себѣ въ университетскихъ бумагахъ, что знаменуетъ вниманіе учебнаго заведенія къ внутреннему быту своихъ питомцевъ. Вообще-же, для правильнаго освѣщенія картины, не должно терять изъ вида другихъ свидѣтельствъ, ослабляющихъ обличительную силу доводовъ кіевскаго историка. Вспомнимъ, напр., замѣтку Никитенко о студенческомъ обѣдѣ его времени: «Къ концу обѣда, — рассказываетъ онъ, — всѣ, по общему взаимному побужденію, бросились въ объятія другъ друга. Пять часовъ пролетѣли какъ мигъ. Какая свобода царствовала въ изліяніяхъ нашихъ чувствъ и мыслей, но какая благородная свобода: въ ней не родилось ни одного чувства, ни одной мысли, ни одного слова, оскорбительнаго для нравовъ, чести и дружбы. Право, общество могло-бы пожелать, чтобы всѣ грядущія поколѣнія его сыновъ были одушевлены такою-же правотою сердца и такимъ-же благородствомъ стремленій».

Крайне необходимо еще остановиться на отношеніи студентовъ къ профессорамъ, и лицъ, окончившихъ курсъ, къ ихъ ученическимъ годамъ. Можетъ быть и наша современность будетъ помянута впоследствии добрымъ словомъ, — мы не станемъ пророчествовать объ этомъ; но факты прошед-

шаго лежать передъ нами открытою книгою и въ ней легко найти не мало трогательныхъ строкъ. Оказывается, что воспитательныя стремленія высшей школы не казались ея питомцамъ докучливой и назойливой опекой. Напротивъ, мы замѣчаемъ, что патріархальныя нравы университетскаго быта, дружественныя отношенія съ товарищами, мыслящая среда, окружавшая юношество, благородныя научныя, литературныя и художественныя занятія, привязывали молодежь къ университету узами любви, похожей, — по выраженію Шевырева, — на любовь къ родинѣ. Сколько многознаменательнаго чувства заключается, напр., въ прощаніи съ университетомъ С. Аксакова. «Прощайте первые, невозвратные годы юности пылкой, ошибочной, но чистой и благородной! Стѣны университета, товарищи, — вотъ что составляло полный міръ для меня. Тамъ разрѣшались молодые вопросы, тамъ удовлетворялись стремленія и чувства. Тамъ царствовало полное презрѣніе ко всему низкому и подлому, ко всѣмъ своекорыстнымъ расчетамъ и выгодамъ, — и глубокое уваженіе ко всему чистому и высокому, хотя-бы и безразсудному. Память такихъ годовъ неразлучно живетъ съ челоуѣкомъ, и непримѣтно для него освѣщаетъ и направляетъ его шаги въ продолженіи цѣлой жизни, и куда бы его ни затащили обстоятельства, какъ-бы ни втаптывали въ грязь и тину, — она выводитъ его на честную, прямую дорогу».

Такъ-же характерны воспоминанія проф. Буслая, въ памяти котораго о годахъ, проведенныхъ въ «общежитіи казенныхъ нумеровъ», сливаются во едино впечатлѣнія суровой дисциплины и веселаго гомона бодрыхъ юношей-товарищей. Профессорское проповѣдничество, казалось-бы, такое скучное, находило отзывъ въ аудиторіи, въ чемъ убѣждаютъ благодарныя отзывы учениковъ о бывшихъ наставникахъ. Напр., при погребеніи проф. Шадена, ученикъ его Цвѣтаевъ записалъ въ дневникъ своемъ: «Какое зрѣлище! Какое торжество для добродѣтелей твоихъ! Кто хочетъ научиться добродѣтели, пусть придетъ на погребеніе того, кто любилъ ее. Онъ научится болѣе, нежели изъ всѣхъ написанныхъ до селѣ книгъ!» О Кіевскомъ профессорѣ Нейкирхѣ говорилось, что онъ «не

допускалъ въ себѣ даже въ шутку двуличія, неправды или лжи». О проф. того-же университета, Цыхъ, студентъ въ надгробномъ словѣ произнесъ: «желаніе послѣднихъ дней благодѣтельной жизни твоей, оставить по себѣ неукоризненную память человѣка честнаго, исполнится». Изъ множества подобнаго рода отзывовъ можно было-бы сплести роскошный вѣнокъ въ память стараго русскаго университета.

Вглядываясь пристальнѣе въ воспитательный элементъ прежней высшей школы, мы видимъ, что онъ сначала близко сливался здѣсь съ умственнымъ просвѣщеніемъ. Но потомъ, мало по малу, подъ вліяніемъ причинъ, о которыхъ мы не будемъ говорить, онъ началъ обособляться и сосредоточиваться въ вѣдѣніи инспекціи, причемъ связь этой послѣдней съ университетомъ становится все болѣе и болѣе внѣшней. Тутъ дѣло нравственнаго воспитанія неизбѣжно должно было обращаться въ простой полицейскій надзоръ за наружнымъ порядкомъ студенческой жизни. Духъ этого надзора долго еще сохранялъ патріархальный характеръ, хотя въ немъ, отъ времени до времени, проступалъ полицейско-формальный и чиновнически-холодный отгѣнокъ. Во всякомъ случаѣ, коренной недостатокъ упомянутаго надзора заключался въ томъ, что онъ лишенъ былъ прочнаго нравственнаго авторитета, правильной педагогической системы, и находился въ полной зависимости отъ свойствъ лицъ, занимавшихъ должности студенческаго управленія. Если эти лица обладали добрыми качествами, то это отражалось соответственнымъ образомъ и на бытѣ студентовъ, противоположныя же личныя свойства вели къ противоположнымъ результатамъ. Такъ, напр., проф. Буслаевъ съ любовью вспоминаетъ о Нахимовѣ, говоря: «Мы, старые студенты Московскаго университета, высоко цѣнили въ своемъ миломъ Платонѣ Степановичѣ подвиги благодушія, милосердія и снисходительности, которыми онъ въ своей простотѣ и наивности могъ достигать того, что недоступно суровому правосудію съ его крутыми мѣрами». Но не таково воспоминаніе того-же автора о Г., излишне щедромъ на карцеръ, на разныя позорящія наказанія, и даже на «забриваніе лба». Иногда чисто внѣшняя

дисциплина надзора переступала всякія границы и производила явленія, напоминающія сцену, описанную проф. Владимірскимъ-Будановымъ. Однажды, въ эпоху Бибиковского управленія въ Кіевѣ, въ актовую залу университета собраны были послѣ молебна воспитанники учебныхъ заведеній. Вошелъ генераль-губернаторъ въ сопровожденіи предводителей дворянства своего округа и началась странная команда ученикамъ: «ложись, вставай, спи, храпи, садись». Когда всѣ эти приказанія, безъ словъ, послушно, какъ однимъ чело-вѣкомъ, выполнены были цѣлою массою молодаго поколѣнія, генераль-губернаторъ сказалъ предводителямъ: «смотрите, вотъ что значитъ повиновеніе, и вотъ какъ я учу дѣтей вашихъ. Довольны-ли вы?»

Непригодность подобной методы, не только по отношенію къ университетамъ, но и къ гимназіямъ, понятна безъ долгихъ разсужденій. Правда, даже внѣшняя спартанская дрессировка лучше распушенности, такъ какъ она все же является сдерживающимъ стимуломъ, закаляетъ волю и характеръ человѣка, но такая метода односторонняя и слаба, несмотря на всѣ атрибуты своей желѣзной суровости. Нравственное воспитаніе, сводящееся къ наружному надзору, изолирующее свои корни отъ почвы моральнаго существа школы, неизбѣжно должно оказаться немоющимъ при первой бурѣ, потрясающей внѣшнія основы общества. Такъ и случилось въ концѣ 50-хъ и въ 60-хъ годахъ.

Мы снова подошли къ эпохѣ, когда Россія распахнула свои объятія вліяніемъ Запада, въ которомъ зарождался тогда порядокъ, обозначаемый у Легове выраженіемъ: «господа дѣти, господа молодежь». На смѣну прежней крайности явилась противоположная крайность. Общество, еще недавно слушавшее Бибиковское: «спи, храпи, вставай», преисполнилось сразу убѣжденій въ ненужности и неделикатности всякихъ воспитательныхъ мѣръ. Особенно твердо укоренилось мнѣніе, что воспитаніе неумѣстно въ университетахъ. Такое мнѣніе отразилось даже во многихъ официальныхъ дѣйствіяхъ и документахъ. Такъ, раздѣляя упомянутое мнѣніе, совѣтъ Кіевскаго университета энергически возсталъ въ

1856 г. противъ интернатовъ, а попечитель того-же округа заявилъ въ 1858 г. категорически: «цѣль университета давать молодымъ людямъ образованіе, а не воспитаніе».

Это была крайне ложная идея, потому что студенческіе годы совпадаютъ съ критическимъ возрастомъ, въ который человѣкъ еще не окрѣпъ духовно, а между тѣмъ пламя юной крови является въ немъ воспримчивой почвой для всякаго рода увлеченій. Вздонованныя эмоціи юноши окрашиваютъ передъ нимъ въ фантастическіе, радужные цвѣта все окружающее, вспыхиваютъ повсюду фальшивыми огоньками и грозятъ ежеминутно завести его въ непроходимыя житейскія топи. Сиротливо оторванный отъ роднаго гнѣзда, вдали отъ авторитета родственниковъ, затерянный въ суетѣ большого города, юноша живетъ на вулканѣ своихъ страстей, среди искушеній всякаго рода, жаждущихъ уловить его неопытность, среди эксплуататоровъ всѣхъ родовъ оружія, начиная съ ростовщиковъ и кончая «студенческими невѣстами», которыя, точно стая акулъ, рѣютъ возлѣ студенческаго общества, въ надеждѣ схватить оплошавшаго. Оставлять юношу безъ руководства и помощи не значитъ быть либеральнымъ и гуманнымъ, а значитъ относиться къ нему съ неразумной и безчеловѣчной жестокостью. Вотъ почему уже старинные, мудрые педагоги, какъ напр. Локкъ, строго осуждали выталкиваніе неокрѣпшихъ молодыхъ людей въ свѣтъ на ихъ личный рискъ и страхъ, при очевидной опасности немедленной пагубы, ибо въ свѣтѣ ихъ ожидаютъ примѣры распушенности и непризванные наставники, которые убѣждаютъ, что дисциплина и уроки суть нѣчто приличествующее дѣтямъ, тогда какъ взрослый свободенъ,—свободенъ въ пользованіи всѣмъ, что до сихъ поръ порицалось и запрещалось. Вотъ почему и патриархъ педагогій, Амосъ Каменскій, относилъ воспитаніе воли человѣка именно ко времени его студенчества.

Но наша переходная эпоха была далека отъ пониманія подобныхъ истинъ. Отуманенная своимъ восторженнымъ отношеніемъ ко всему новому, юному, отшатнувшись съ отвращеніемъ отъ всего стараго, она перенесла свое поклоненіе и на молодежь, которою, съ точки зрѣнія эпохи, можно во-

схищаться, но нельзя руководить. Всѣмъ извѣстны проявленія этого страннаго и вреднаго преклоненія. Вспомнимъ комическую исторію о томъ, какъ Тургеневъ написалъ романъ «Отцы и дѣти», какъ многіе изъ этихъ «дѣтей» обидѣлись и заявили ему, что они «съ хохотомъ презрѣнія сжигаютъ его фотографическіе портреты», и какъ знаменитый беллетристъ извивался передъ своими юными обличителями, увѣряя ихъ въ своей симпатіи къ Базарову. Но духъ времени отражался не только въ людяхъ безъ внутренняго нравственнаго устоя, онъ былъ замѣтенъ даже въ личностяхъ солиднаго ума и твердаго характера. Просматривая, напр., вступительныя лекціи проф. Рѣдкина, относящіяся къ той эпохѣ, мы наталкиваемся въ нихъ на слѣдующія странныя воззванія: «Судите меня,—обращался глубокой спеціалистъ науки къ своей юной аудиторіи,—судите мою профессорскую дѣятельность, мои лекціи, со всею строгостью и безпристрастіемъ судей! Судите меня—на то я сюда пришелъ, какъ лицо публичное, не только признающее, но желающее критики для пользы самаго дѣла, какъ профессоръ университета, того высшаго ученаго и учебнаго заведенія, гдѣ замолкаютъ авторитеты» и т. д. Поистинѣ не понятно, что думалъ почтенный ученый, произнося эти воззванія и валагая такое непосильное дѣло на свою аудиторію? Какимъ образомъ юноши, только что приступающіе къ изученію науки, могутъ быть компетентными судьями глубокаго спеціалиста этой науки? Гдѣ взять ученику мѣрила для критики, которую отъ него требуютъ? Очевидно, П. Г. Рѣдкинъ не задавался въ то время подобными вопросами, а лишь уносился общимъ вихремъ историческаго момента, который сотворилъ себѣ изъ молодежи кумиръ и отнялъ вмѣстѣ съ тѣмъ у нея спасительную точку опоры.

Введенные въ обманъ носившимися въ воздухѣ вѣяніями, студенты заволновались и пришли въ движеніе. Общественное мнѣніе рѣшило, что университетъ не есть воспитательное заведеніе; и вотъ, очищенное мѣсто заняли другіе дѣятели, воспитателями явились извращенныя журнальныя идеи, фанатически взвинченныя личности и вообще буйные толчки безпокойной эпохи. Вышній надзоръ за студентами, въ который

выродилось университетское воспитаніе, былъ безсилень притти на помощь. И въ самомъ дѣлѣ, что такое начальническіе выговоры, карцеры и пр. тамъ, гдѣ дѣло идетъ о коренныхъ вопросахъ общественности и государственности, гдѣ со всѣхъ сторонъ встаютъ задачи перестройки заново исторіи и чело-вѣчества, гдѣ нужно карать идейныя преступленія знамени-тыхъ писателей и судить профессорскія лекціи?.. Напрасно надзоръ усиливалъ свое вниманіе и наказанія. По существу своему, онъ могъ достигать только внѣшніе факты, наруж-ныя слѣдствія, но не могъ вліять на внутреннія причины этихъ слѣдствій. Начальство разсыпало кары за непоклонны инспектору, за ношеніе длинныхъ волосъ, за несоблюденіе формы, но оно не въ силахъ было пресѣчь эти проступки, какъ не въ силахъ мы остановить болѣзненные симптомы, имѣющіе внутри организма свой корень. Студенчество про-должало преступать предъявляемыя къ нему требованія, по-тому что въ глубинѣ души его зрѣла внушенная ему и воспри-нятая имъ вѣра въ то, что молодежь есть сила и самостоя-тельный элементъ не только въ университетѣ, но и въ госу-дарствѣ. Въ студентахъ укоренялась мысль, что они не только имѣютъ право самостоятельно завѣдывать своими студенче-скими дѣлами, посредствомъ сходокъ и депутатскихъ собра-ній, заводить свои кассы и пр., но и вліять на весь ходъ университетской жизни.

Начались почти повсемѣстныя «исторіи». Въ Казанскомъ университетѣ, въ 1858 г., студенты адресовали одному про-фессору письмо такого содержанія: «Господинъ профессоръ! Всѣмъ намъ извѣстна ваша продолжительная служба Казан-скому университету, за которую мы, всѣ студенты медицин-скаго факультета, душевно васъ благодаримъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, принимая во вниманіе ваши преклонныя лѣта и вашу слабость, просимъ васъ, для общей нашей пользы, сложить съ себя эту тяжелую обязанность, которая становится еще тяжелѣе нынче, во время быстрого развитія науки, требую-щаго силъ свѣжихъ и молодыхъ», и т. д. (ср. пр. Ойрсова, «Студ. исторіи въ Казанск. универс.», Р. Стар. 1889 г.). Въ другой разъ студенты того-же университета потребовали на

одну изъ сходокъ, доцента С., въ качествѣ подсудимаго, а декана вызвали въ качествѣ свидѣтеля. Добрѣйшій, но безха-рактерный деканъ явился на сходку и сталъ было объясняться, но предѣдатель сходки, студентъ, пригласилъ его сѣсть, ска-завъ, что когда его спросятъ, тогда онъ и будетъ отвѣчать. Деканъ смиренно усѣлся на скамейку и ждалъ пока его спро-сятъ. Когда-же былъ спрошенъ, то всталъ и далъ объясне-ніе... Позднѣе, на вопросъ попечителя, какъ могъ онъ допу-стить все это, деканъ смущенно развелъ руками и поникнувъ головою отвѣтилъ: «Что-же съ ними было дѣлать...» (ср. Ше-стакова, «Студ. волненія въ Казани», Р. Стар. 1889 г.).

Въ томъ-же родѣ пло дѣло въ Москвѣ, гдѣ, — по отмѣткѣ дневника Никитенко, — «студенты явно требовали смѣны тѣхъ или другихъ лицъ университетскаго персонала, настаивали, чтобы начальство не мѣшалось въ ихъ дѣла, а главное — не хотѣли ничему учиться». Здѣсь также, къ концу 50-хъ го-довъ, образовался самодѣльный студенческой бытъ, съ касса-ми, сходками и съ прочимъ, постороннимъ ученію и воспи-танію гомономъ, среди котораго, по словамъ проф. Григорьева (автора юбилейной книги: «Петерб. универс. въ теченіе пер-выхъ пятидесяти лѣтъ его существованія», 1870 г.), «мель-чало и прикижалось нравственное и гражданское чувство въ студентахъ». Для характеристики положенія вещей, вспо-нимъ одинъ фактъ, описанный въ статьѣ г. Спасовича: «Пяти-десятилѣтіе Петерб. университета» (Собр. соч., т. IV, 1891 г.). Какъ-то разъ, въ 1860 году, проворовался кассиръ студен-ческой кассы. По этому случаю студентамъ позволено было произвести судъ, и г. Спасовичъ устроилъ, по его словамъ, «нѣчто въ родѣ суда съ присяжными». Сходка выбрала пя-терыхъ судей, составленъ былъ обвинительный актъ, подсу-димый содержался въ карцерѣ и имѣлъ 2-хъ защитниковъ. Назначено было судебное засѣданіе, со всѣми приѣмами ино-страннаго, еще не введеннаго тогда въ Россіи процесса, и судьи, послѣ полуторачасоваго совѣщанія, вынесли приговоръ, который былъ потомъ утвержденъ попечителемъ. Конечно, по-добныя пародіи суда и антипедагогическія игры, могли лишь приучать юношество видѣть себя внѣ и выше государства.

Мы не осуждаемъ г. Спасовича, потому что таковъ уже былъ духъ времени, котораго не чужды были, какъ сказано выше, даже личности, въ родѣ Рѣдкина. Тѣмъ не менѣе, приведенный фактъ объясняетъ дальнѣйшія событія. На актѣ 1861 г., по случаю отмѣны чтенія рѣчи Костомарова, студенты разразились криками: «рѣчь, рѣчь Костомарова!» Эти крики, — описываетъ Никитенко, — сопровождались топавшемъ, стукомъ, и скоро превратились въ дикій ревъ. Позднѣе, когда министерство сочло долгомъ прекратить университетскую анархію, произошелъ цѣлый рядъ по истинѣ удивительныхъ событій. Студенты требовали начальство на свои сходки, разламывали двери актовъ залы, кричали ректору «не одно непріятное выраженіе» (какъ дипломатически выражается г. Спасовичъ), водили попечителя по Невскому, подъ своимъ эскортомъ, и т. д.

Само собою разумѣется, что этотъ чадъ ошаненія, произведенный крутымъ и неловкимъ оборотомъ общественныхъ настроеній, былъ равномѣрно тяжелъ для всѣхъ. По свидѣтельству г. Спасовича, сами студенты чувствовали эту тяжесть: «Множество изъ нихъ обращалось къ профессорамъ съ вопросами о томъ, что имъ дѣлать». Бѣдные юноши, оставленные безъ нравственнаго руководства, искали опоры и просили о помощи! Профессора сознавали также, что «ихъ обязанности не ограничиваются чтеніемъ лекцій и производствомъ испытаній», но смута времени, помрачавшая все, ограничивала совѣты, даваемые профессорами студентамъ, лишь указаніемъ на «безполезность и непрактичность» сопротивленія. Правительство горячо желало водворенія добраго порядка и обращалось за содѣйствіемъ къ университетскому совѣту. Но къ сожалѣнію, при этомъ происходили недоразумѣнія, впутывались софизмы, мѣшавшіе дѣлу. Такъ, напр., въ отвѣтъ на указаніе попечителя, что если студенты не хотятъ подчиняться установленнымъ правиламъ, то они вольны не поступать въ университетъ, — одинъ изъ членовъ совѣта, по словамъ г. Спасовича, замѣтилъ, что «теорія свободнаго договора не можетъ быть примѣняема къ подобнымъ отношеніямъ, потому что это повело-бы къ разсматриванію и самаго государства, какъ договора, т. е. поставило-бы насъ на точкѣ

зрѣнія давно покинутой всѣми. Притомъ, не всякій такой мнимый договоръ свободенъ. Назначьте таксу на хлѣбъ по рублю за фунтъ, сколько тысячъ людей умретъ съ голоду при такой мнимой свободѣ покупать хлѣбъ по таксѣ. Высшее-же образованіе такъ-же нужно, какъ хлѣбъ насущный для общества», и т. д. Всѣ эти разсужденія, невѣрныя по существу, не относились вовсе къ дѣлу, потому что высшее образованіе есть, конечно, большое благо, но только при условіяхъ, препятствующихъ ему вырождаться въ школу высшей деморализаціи.

Возвращаясь къ фактамъ университетской смуты, мы видимъ, что они убѣждаютъ въ крайней опасности, которою грозитъ отсутствіе выработанныхъ формъ нравственнаго воспитанія, или, что то-же, сведеніе этого воспитанія къ наружному и по отношенію къ истинной основѣ университета постороннему надзору. Нужно горячо желать положенія вещей, при которомъ воспитывающіеся въ высшей школѣ юноши не были-бы принуждены бѣгать туда и сюда съ тщетнымъ вопросомъ: «что намъ дѣлать?» Нужно пламенно желать, чтобы дѣло нравственнаго руководства не отдѣлялось отъ умственнаго просвѣщенія. Въ такомъ насильственномъ расчлененіи одного естественнаго цѣлага страдаютъ обѣ, отрываемыя другъ отъ друга части. Научное преподаваніе обращается въ простое снабженіе молодаго поколѣнія обоюдоострымъ оружіемъ разныхъ знаній, а лица преподавательскаго персонала искушаются пренебрегать воспитательными задачами и даже становятся къ нимъ въ высокомѣрное или эгоистическое положеніе антагонизма. Съ другой стороны, нравственное воспитаніе, замкнутое въ убогіе предѣлы полицейскаго надзора, отброшенное въ особый уголокъ высшей школы, отдѣленное отъ ея центральнаго святилища науки, лишается всякаго внутренняго, истинно-воспитательнаго авторитета. Мы находимъ вполне справедливыми слова Руссо о томъ, что не должно отдѣлять учителя отъ воспитателя: «развѣ вы, — говоритъ онъ, — дѣлаете различіе между ученикомъ и воспитанникомъ? Нужно, въ сущности, прежде всего внушать одну науку, — науку объ обязанностяхъ человѣка, она-же не дѣлима».

Университетскій уставъ 1863 года не внесъ существенныхъ измѣненій въ разсматриваемый вопросъ. При обсужденіи проекта этого устава сдѣланъ былъ между прочимъ, запросъ Роберту Молю, и знаменитый нѣмецкій ученый высказался противъ устраненія изъ университета воспитательнаго элемента. «Здѣсь дѣло идетъ, — писалъ онъ, — не о зрѣлыхъ гражданахъ, а о такихъ, которые еще воспитываются». При этомъ Моль совѣтовалъ подраздѣлить студентовъ факультета на нѣсколько группъ и каждую ввѣрить надзору и руководству надежнаго наставника, профессора или доцента. Но уставъ пошелъ другою дорогою, вслѣдствіе чего въ немъ получились недостатки, отмѣченные г. Любимовымъ въ слѣдующихъ чертахъ («Университетскій вопросъ», 1881 г.): «По общему характеру установленій, университетъ не имѣетъ никакого воспитательнаго вліянія на массу учащейся въ немъ молодежи, не отвѣтственъ за ея нравственное состояніе и потому не заинтересованъ въ ближайшемъ ознакомленіи съ нею. Значительную долю студентовъ въ университетѣ никто не видитъ и не знаетъ. Гдѣ и какъ проводятъ они свое время, какъ занимаются, какъ живутъ, — обо всемъ этомъ имѣются лишь самыя смутныя представленія. Правда, обязанности такимъ образомъ упрощаются и облегчаются, когда слушателей лекцій считаютъ студентами пока они въ аудиторіи, и обыкновенными жителями города, когда они вышли изъ стѣнъ университета, но это упрощеніе идетъ въ ущербъ дѣлу».

Уставъ 1884 г. поручаетъ попечителю учебнаго округа высшее руководство по охранѣ порядка и дисциплины въ университетѣ (ст. 8). Въ ближайшее-же отношеніе къ студентамъ поставлены инспекторъ, его помощники и служители (уставъ не упоминаетъ объ умственномъ и нравственномъ цензѣ этихъ лицъ). На обязанности инспекціи лежитъ надзоръ за порядкомъ «въ зданіяхъ университета» и наблюденіе за студентами внѣ этихъ зданій, «по мѣрѣ возможности» (ст. 48). Вообще-же, за стѣнами университета, «студенты подлежатъ вѣдѣнію полицейскихъ установленій на общемъ основаніи» (ст. 123). Центръ университетской жизни, фа-

культетъ, съ его членами-профессорами и ихъ совѣтами, не имѣетъ никакого касательства къ вопросу о поведеніи студентовъ. Почти такъ же и совѣтъ университета (собраніе профессоровъ всѣхъ факультетовъ), ибо въ его полномочія входитъ одно только теоретическое, такъ сказать, обсужденіе проектовъ инструкцій для инспекціи (ст. 30, III §, п. 13). Такимъ образомъ, дѣло надзора за студентами связывается собственно съ университетомъ тонкой нитью компетенціи ректора (который, по ст. 13, наблюдаетъ за исполненіемъ студентами установленныхъ правилъ) и декановъ, какъ членовъ правленія, которое среди всякихъ хозяйственныхъ дѣлъ, завѣдуетъ, между прочимъ, и разбирательствомъ по студенческимъ дѣламъ, а также наложеніемъ взысканій на виновныхъ (ст. 41, § I, п. 7).

III.

Неурядицы студенческаго быта 60-хъ и позднѣйшихъ годовъ, безъ сомнѣнія, обусловливались свойствомъ эпохи, которую довольно вѣрно характеризуетъ г. Спасовичъ (въ упомянутой статьѣ) такими чертами: «Въ обществѣ было сильное расположеніе «ко всякому движенію» вообще, въ какихъ-бы формахъ оно ни проявлялось, въ легальныхъ или даже не совсѣмъ легальныхъ, и полный разгулъ самыхъ смѣлыхъ надеждъ, при которомъ невозможное казалось легко осуществимымъ». Но дѣло въ томъ, что и всѣ эпохи имѣли, имѣютъ и будутъ имѣть свои пороки, свои вредоносныя вѣянія. На мѣстѣ фальшивыхъ огней политическихъ утопій можетъ проявиться жадность эгоизмовъ или можетъ вспыхнуть страстное пламя низменныхъ вожелѣній, жажда дешевыхъ житейскихъ утѣхъ, съ ихъ всегдашними атрибутами — душевнымъ обмеленіемъ, скукой, презрѣніемъ къ жизни и исчезновеніемъ ужаса предъ самоубійствомъ и убійствомъ. А эта печальная полоса настроенія можетъ въ свою очередь смѣниться (иногда — совершенно неожиданно) другою, столь же злою, и т. д. Школа, уважающая свое назначеніе, не

должна быть открытымъ фонаремъ, беспомощно вентилируемымъ всѣми подобными ядовитыми дуновениями. Она не должна пассивно скользить по всѣмъ покатосямъ временныхъ и мѣстныхъ настроеній; она обязана охранять своихъ питомцевъ и, сѣя въ ихъ душѣ доброе сѣмя, готовить странѣ лучшее будущее. Здѣсь требуется важная воспитательная работа, которой значеніе нужно не обинуясь поставить выше спеціально образовательныхъ задачъ учебнаго заведенія, ибо, по вѣрнымъ словамъ французскаго педагога Vessiot, «можно представить себѣ общество, состоящее изъ честныхъ людей безъ образованія, но немислимо общество образованныхъ людей безъ честности».

П. Д. Шестаковъ указывалъ одно средство врачеванія моральныхъ золъ высшей школы, именно — трудъ: «чѣмъ больше, — говоритъ онъ, — будутъ заняты студенты дѣломъ, тѣмъ спокойнѣе будетъ въ университетахъ». Но съ этимъ нельзя согласиться вполне. Трудъ великая вещь, однако его не должно сводить до значенія какого-то механическаго успокоительнаго средства, его несправедливо уподоблять наркотическому медикаменту, дающему покой усыпленія, или пищевому «суррогату», который ложно и вредно заглушаетъ голодъ, за немѣнимъ хлѣба. Къ тому-же, это средство и не дѣйствительно. Сколько бы мы ни нагромождали лекцій, литографированныхъ записокъ и всякихъ практическихъ научныхъ занятій, сквозь эту громаду всегда пробьются потребности сердца и запросы духа. Таковъ уже человѣкъ и такова благодатная сила его нравственной сущности. Значитъ, не ограничиваясь «суррогатами» моральнаго воспитанія, приходится отыскивать его истинные пути. Весьма естественно, при исканіи этихъ путей, обращать испытующій взоръ на соответственныя усилія другихъ людей, чужихъ странъ.

Окинемъ-же однимъ общимъ взглядомъ студенческой режимъ въ главнѣйшихъ цивилизованныхъ современныхъ государствахъ.

Наименѣе поучительнаго находимъ мы во Франціи, съ ея Collège de France, гдѣ курсы такъ-же публичны, какъ «рынокъ или улица», и съ ея буйнымъ Латинскимъ кварталомъ.

Кому случалось бывать въ Парижѣ, тотъ могъ наглядно убѣдиться въ цинизмъ быта французскихъ студентовъ, въ цинизмъ, который проявляется крайней нравственной распущенностью, безчинствуетъ въ ресторанахъ и выливается грязной волной безстыдства и озорничества на широкія павели бульвара Сенъ-Мишель, этой главной артеріи Латинскаго квартала. Французы называютъ подобный *modus vivendi* «сжиганіемъ молодости», необходимымъ будто-бы періодомъ жизни всякаго человѣка, но на самомъ дѣлѣ, здѣсь передъ нами пренебреженіе со стороны государства его священными воспитательными обязанностями, здѣсь печальная, языческая вакханалія, школа обожествленія плоти, питомникъ моральнаго растлѣнія страны. Вредъ всего этого не искупается сравнительно немногочисленными талантами, которые быстро развиваются въ разгоряченной атмосферѣ окружающей жизни, подобно тому, какъ быстро зрѣютъ овощи въ искусственно утѣченной почвѣ парника. Свѣтлое, ровное сіяніе прочныхъ религіозно-нравственныхъ идеаловъ тутъ, въ большинствѣ случаевъ, замѣняется сутолокой соперничества и водоворотомъ всевозможныхъ тщеславій. Буржуазная-же молодежь послѣдняго времени все болѣе и болѣе объединяется въ стремленіи пристроиться такъ или иначе къ государственному административно-парламентскому механизму: всѣмъ хочется поскорѣе приспособиться, во что бы то ни стало, путемъ-ли опортунизма или радикализма, къ этой «*grosse vache à lait bourgeoise*».

Едва-ли много поучительнаго заключаетъ въ себѣ и германскій строй студенческой жизни. Нѣмецкіе университеты, съ самаго начала и по нынѣ, представляютъ собою исключительно ученые школы, посвященныя спеціально наукѣ. Воспитательныя задачи оставались и остаются здѣсь въ сторонѣ, чѣмъ и объясняются многіе печальные результаты, которыхъ не отрицаютъ сами нѣмцы. Такъ, Деллингеръ («Die Universitäten sonst und jetzt») съ грустью замѣчаетъ: «wie viel noch Sitliche Zustand der Jugend an manchen, vielleicht an der meisten Hochschulen zu wünschen übrig lässt». Деллингеръ высказываетъ желаніе, чтобы дѣятельность универ-

ситетовъ не замыкалась въ одномъ сообщеніи знаній, но шла-бы дальше, къ нравственному подъему и облагороженію воли учащихся (der Erhebung der Gemüther und Veredlung des Willens); къ этому пожеланію названный авторъ прибавляетъ: «Warum verzichten wir Deutschen denn so ganz auf eine Einrichtung, welche Vernunft und Erfahrung gleichmässig empfehlen, welche Tausende von Vätern und Müttern von schlaflosen Nächten, von nagenden Kummer und peiniger Angst erlösen und Zahlreiche Jünglinge vom Untergange retten, andere von lebenslänglicher Reue bewahren würde?» ..

Мѣсто истинно нравственнаго руководства въ быту германскаго студенчества занимаетъ механическій корпоративный строй, опирающійся на старыя традиціи и придающій вѣншее подобіе порядка жизни юношества, которое предоставлено самому себѣ, ведетъ вѣковѣчную войну съ университетской полиціей и бьется въ заколдованномъ кругу непросвѣтленной прогрессивнымъ идеаломъ, грубой самодисциплины. Правда, нерѣдко случается встрѣчать поклонниковъ нѣмецкихъ порядковъ. Отъ времени до времени и у насъ слышатся голоса, пытающіеся изобразить студенческій дерптскій режимъ, составляющій сколокъ съ германскаго, образцомъ достойнымъ подражанія. Мы не удивляемся этимъ пристрастнымъ отзывамъ, потому-что на свѣтѣ есть любители всякой жизненной обрядности, — есть, напр., люди, которые съ наслажденіемъ прочитываютъ въ газетахъ, отъ начала до конца, длиннѣйшія описанія различныхъ официальныхъ церемоніаловъ. Но если ссылаться на отзывы, то пусть уже они принадлежатъ лицамъ, въ родѣ I. Шерра, который, въ своей извѣстной «Исторіи Михеля», говоритъ слѣдующее: «Воспоминаніе о студенческомъ коммерцированіи, реномированіи, рандолированіи, дуэлированіи вовсе не представляется мнѣ въ такомъ прекрасномъ свѣтѣ, чтобы я возымѣлъ желаніе распространяться о немъ. Выражая притязаніе быть кодексомъ своеобразнаго абстрактнаго и при ближайшемъ разсмотрѣніи безсодержательнаго принципа чести, студенческая корпорация въ сущности есть ничто иное, какъ безтолковая смѣсь лѣности и грубости». Если есть здѣсь что-нибудь хорошее, то его можно

свести къ одному стѣсненію юношескаго произвола внѣшнимъ, механическимъ укладомъ издавна заведенной жизни. Но такъ какъ этотъ укладъ представляетъ собою только бездушную форму, то понятно, почему многимъ онъ скоро надоѣдаетъ и они «погружаются, — по словамъ того-же Шерра, — въ полнѣйшее усыпленіе и нигилистическое равнодушіе, которое порождаетъ состояніе, колеблющееся между самоосмѣяніемъ и тупоуміемъ». Нужны благоприятныя случайности, постороннія обстоятельства и вліянія, чтобы сохранить въ этой атмосферѣ живую душу и любовь къ свѣтлому идеалу. Намъ думается, что формализмъ, поглощающій существо жизни, не въ духѣ русскаго человѣка, который прежде всего цѣнитъ и ищетъ внутреннюю правду, и если не находитъ помощи въ своемъ исканіи, то идетъ на собственный рискъ, на случай, а иногда и на обманчивый блескъ блуждающихъ огней.

Гораздо болѣе въ разсматриваемомъ отношеніи останавливается на себѣ вниманіе Англія (ср. напр. интересную статью безвременно умершаго молодого ученаго Клейбера: «Кембриджскій университетъ», Вѣстн. Евр., 1890 г., 9—10). Здѣсь университетъ распадается на большее или меньшее число колледжей — интернатовъ, въ которыхъ живетъ 90—95% всего студенчества. Начальство въ колледжахъ принадлежитъ директорамъ, которые пользуются особеннымъ уваженіемъ, и по ихъ учености, и по личнымъ качествамъ. Дѣло образованія и воспитанія тутъ составляетъ нѣчто единое и цѣлостное. Ближайшее руководство тѣмъ и другимъ лежитъ на обязанности такъ называемыхъ тьюторовъ, которые не составляютъ по отношенію къ университету какихъ-то случайныхъ прохожихъ и незнакомцевъ, а всѣ принадлежатъ къ числу молодыхъ, дѣятельныхъ ученыхъ. Тьюторъ слѣдитъ за успѣхами и поведеніемъ ввѣренныхъ ему учениковъ; онъ ближайшій совѣтникъ студента, помощникъ во всѣхъ его затрудненіяхъ и служить ему какъ-бы in loco parentis. Студенты экстерны также отнюдь не брошены на произволъ судьбы. Университетъ бодрствуетъ на стражѣ юности гражданъ и старается всѣми силами предохранить ее отъ вредныхъ вліяній. Онъ не ждетъ полицейскаго протокола, чтобы бросить мимолет-

ный взгляд на студенческую жизнь внѣ своихъ стѣнъ; онъ указываетъ студентамъ для жительства дома, гдѣ приняты мѣры моральной гигиены, онъ беретъ съ содержателей квартиръ строгія обязательства, чтобы они не пускали къ себѣ постороннихъ жильцовъ, чтобы запирали самолично двери своего дома въ 10 часовъ вечера, чтобы они отмѣчали каждый разъ, кто изъ студентовъ-квартирантовъ отсутствовалъ не въ указанное время. Университетъ запрещаетъ владѣльцамъ лавокъ и магазиновъ, виноторговцамъ, содержателямъ лошадей и т. д. кредитовать студентовъ, и онъ бы счѣмъ расправиться со всякимъ такимъ кредиторомъ или ростовщикомъ, который-бы осмѣлился предъявить ко взысканію пачку студенческихъ залоговыхъ и иныхъ росписокъ, какъ это бываетъ въ другихъ странахъ.

Ограждая неокрѣпшую юность отъ соблазновъ и искушений, университетъ не церемонится подвергать наказанію того изъ студентовъ, который не остерегся переступить отчетливо проведенную линію между дозволеннымъ и недозволеннымъ, между должнымъ и недолжнымъ. Здѣсь никому не кажется такой режимъ черезчуръ дѣтскимъ и унижающимъ студенческое достоинство, потому что тутъ нѣтъ общаго молчаливаго соглашенія считать 18—20 тилѣтній возрастъ, самый критическій и опасный, полной зрѣлостью человѣка. Конечно, при упомянутомъ соглашеніи, путь дѣйствія весьма упрощается, но англійскій университетъ не ищетъ легкости. Онъ твердо стоитъ на убѣжденіи, что научныя занятія—важное дѣло, но нравственность и религія имѣютъ не меньшее значеніе. Онъ обязываетъ своихъ юношей посѣщать церковь пять разъ въ недѣлю, и невѣрующій студентъ составляетъ въ Англии большую рѣдкость.

Но напрасно было бы думать, что, въ виду очерченного строя жизни, англійскіе студенты становятся какими-нибудь забытыми существами, съ померкшимъ взоромъ, съ наружностью ханжей. Далеко нѣтъ. Едва-ли гдѣ въ другой странѣ юношество поражаетъ большимъ обиліемъ физическихъ силъ и жизненности. Это потому, что университетъ, просвѣщая умы и закаляя характеры своихъ питомцевъ, открываетъ свободные

клапаны для проявленія и упражненія энергіи и подвижности, столь свойственныхъ ранней порѣ человѣческой жизни. Параллельно съ научными занятіями, здѣсь молодежь горячо предается гимнастикѣ, спорту, играмъ на свѣжемъ воздухѣ, на рѣкѣ и въ полѣ. Множество студенческихъ обществъ «гребли», «велосипедистовъ», «игры въ футъ-бооль», «въ крокетъ» и т. д. является школой физическаго развитія, тогда какъ разнообразныя студенческіе клубы, гдѣ солидно дебатировались вопросы литературы, науки, этики и политики, служатъ питомниками зрѣлости сужденій и выработки дѣловаго ораторскаго искусства. Вотъ день англійскаго студента, какъ онъ описанъ у г. Клейбера. Вставъ рано, студентъ идетъ въ церковь, проноситъ тамъ молитвы, поетъ гимны, выслушиваетъ проповѣдь и проч.; затѣмъ, онъ отправляется на лекціи до часа или двухъ. Послѣ завтрака, онъ надѣваетъ костюмъ спортсмена и спѣшитъ въ поле, гдѣ его ожидаютъ игры, которымъ онъ и предается съ жаромъ и интересомъ. Тутъ происходитъ состязаніе въ силѣ, въ быстротѣ бѣга, въ ѣздѣ на велосипедѣ, игра въ теннисъ, въ лакросъ, въ собаку и зайца, въ поло, стрѣльба въ цѣль и т. д. Вечеръ студентъ оканчиваетъ пріятной бесѣдой съ товарищами въ одномъ изъ клубовъ или въ частномъ кружкѣ, причемъ нерѣдко неисчерпаемой темой для разговоровъ служатъ тѣже игры.

Такова жизнь университетской молодежи, выработанная Англійей для осуществленія стараго девиза: *mens sana in corpore sano*. Нельзя сказать, чтобы описанные порядки не останавливали на себѣ вниманіе русскихъ людей. Очень многіе изъ нашихъ путешественниковъ задумывались надъ характеристическими чертами британскаго студенческаго быта. Такъ, напр., болѣе тридцати лѣтъ тому назадъ, П. А. Плетневъ писалъ изъ-за границы объ Оксфордскомъ университетѣ: «Зрѣлище его меня глубоко поразило. Тутъ еще царствуютъ средніе вѣка, но не въ дурномъ значеніи, а по отношенію къ силѣ нравственно-религіознаго образованія. Нельзя тамъ учиться слегка, потому что можно сказать, цѣлое населеніе города только и существуетъ для одной цѣли: для внушенія юношеству неизгладимыхъ напечатлѣній высокихъ истинъ на-

уки, религии и нравственности. У насъ иногда жалуются на тяжелый педантизмъ. Это развѣ потому можно принять въ соображеніе, что онъ тяготитъ умъ грубыми и бесполезными формами своими. Но оксфордскій педантизмъ состоитъ изъ безусловной преданности тѣмъ началамъ, на основаніи которыхъ излагаемые предметы должны дѣлаться незыблемою собственностью учащихся. Эти годы ученія можно сравнить съ годами искуса, безъ котораго нельзя поступить въ монахи (Р. Стар. 1891 г.)».

Не мало интереса представляютъ и университеты Соединенныхъ Штатовъ. По большей части, они не ютятся въ центрахъ многочисленныхъ городовъ, въ присущей этимъ послѣднимъ удушливой атмосферѣ, вредной и нравственно и физически. Американскія высшія школы широко раскинулись на вольномъ воздухѣ сельскаго простора. Группы университетскихъ зданій расположены въ привѣтливой зелени рощъ и луговъ. По среди возвышается капелла, тутъ-же дома-аудиторій, библіотеки, кабинеты естественныхъ наукъ, музеи, домъ директора, коттеджи преподавателей. Студенты живутъ поблизости на частныхъ квартирахъ. Все это населеніе составляетъ какъ-бы одну семью, гдѣ учащіе и учащія состоятъ въ постоянномъ взаимномъ общеніи. Университетскія лабораторіи, кабинеты, колекціи и обсерваторія всегда готовы къ услугамъ научныхъ занятій студентовъ, а не составляютъ какъ-бы частнаго хозяйства профессоровъ. Въ музеяхъ хранятся памятники молодой, но благоговѣнно чтимой американской исторіи; здѣсь юношество напитывается духомъ благороднаго патриотизма. Гиппо рассказываетъ, что въ одномъ изъ такихъ музеевъ, студентъ показывалъ ему, какъ драгоценность, вѣтку яблони, подъ которой находился Грантъ, когда ему сдѣлся генераль Ли. Прекрасная библіотека, не въ хаотической заброшенности (какъ это бываетъ въ другихъ мѣстахъ), а приспособленная къ удобному пользованію, предлагаетъ всѣ пособія для юной любознательности; при ней находятся залы для занятій и для обсуждения читаемаго. Такимъ образомъ, все здѣсь втягиваетъ учащагося въ солидное дѣло, наполняетъ время и душу молодого человѣка. Тутъ

осуществляется многое, чего нельзя достигнуть простымъ накопленіемъ студенческихъ экзаменовъ, обращающихъ иногда научныя занятія въ скучное ученичество, въ усвоеніе руководствъ, на почвѣ котораго вырастаетъ отвращеніе къ наукѣ, идейная бесплодность образованія, упадокъ возвышенныхъ интересовъ и тусклый, непросвѣщенный разгулъ свободныхъ минутъ. Въ Итонскомъ университетѣ заведены мастерскія для разныхъ работъ съ двойною цѣлью: укрѣпить здоровье студентовъ тѣлеснымъ упражненіемъ и дать имъ возможность добыть денегъ для покрытія расходовъ по ихъ образованію. Подобные порядки, конечно, обвѣваютъ питомцевъ высшей школы свѣжей струей уваженія къ труду и умѣнія быть самостоятельными. Юноши, изучающіе высшую математику, философію и проч., не стыдятся проводить нѣсколько часовъ дня въ мастерскихъ, зарабатывая деньги на свое содержаніе, что гораздо воспитательнѣе, чѣмъ система выпрашивания и раздачи пособій. Самыя внимательныя наблюденія констатировали, что студенты, занимавшіеся физическимъ трудомъ, нисколько не отстали отъ товарищей въ умственныхъ занятіяхъ.

Отъ времени до времени, академическая жизнь американскихъ университетовъ разнообразится праздниками и церемоніями. Въ извѣстные дни студенты собираются въ церковь, гдѣ они дружески встрѣчаются съ прежними воспитанниками университета. Сначала совершается молитва, затѣмъ студенты поютъ религіозныя гимны и патриотическія пѣсни, потомъ юные авторы читаютъ свои произведенія въ прозѣ и въ стихахъ, иногда произносятся рѣчи на серьезныя, научныя темы. Все это совершается среди горячаго сочувствія многочисленной публики. Вечеромъ праздникъ оканчивается концертомъ или баломъ, гдѣ опять общество привѣтствуетъ съ гордостью и отъ души свою молодежь, свою надежду. Само собою разумѣется, что эти картины мало напоминаютъ такъ называемые «акты» учебныхъ заведеній континента Европы, скучныя, безжизненныя, официальные торжества, на которыхъ происходитъ выставка мѣстнаго чиновничества, читается отчетъ, который никого не интересуетъ, произносится рѣчь, которую никто не слушаетъ, раздаются медали, увѣнчивающія юныя

тщеславія, и гдѣ присутствуетъ томящаяся въ скукѣ толпа молодежи, въ видѣ приличной случаю декораціи. Мы не говоримъ уже о завершающихъ эти акты вечернихъ попойкахъ, которыя бывають часто не чужды болѣе или менѣе крупнаго скандала, и которыя вызываютъ цѣлый рядъ грустныхъ вопросовъ: чѣмъ эти кутежи отличаются отъ сборищъ какихъ-нибудь необразованныхъ ремесленниковъ? Гдѣ признаки, что это праздникъ людей науки? Гдѣ сердечная связь общества съ его молодымъ поколѣніемъ?

Вообще, искренно-любовный и сознательно-почтительный взглядъ, которымъ населеніе Соединенныхъ Штатовъ смотритъ на свои университеты, долженъ служить глубоко поучительнымъ зрѣлищемъ для нашего общества, взявшагося за ученіе, «бывъ приневолено отъ мастера», и съ тѣхъ поръ надолго сохранившаго къ людямъ науки отношеніе, въ которомъ, не смотря на всѣ оболочки наружной культурности, сквозитъ точка зрѣнія знаменитой героини фонъ-Визина.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Воспитатель.

Много разъ, въ теченіе предшествовавшаго изложенія, мы упоминали о томъ, что степень успѣха моральнаго воспитанія состоитъ въ постоянной зависимости отъ личныхъ свойствъ воспитателя. Это безспорная истина, не только заслуживающая теоретическаго усвоенія, но требующая и практическаго принятія въ соображеніе.

Всѣмъ извѣстенъ общій видъ какой-либо обширной фабрики. Зритель чувствуетъ себя здѣсь затеряннымъ въ общемъ хаосѣ движенія; и справа и слѣва, и сверху и снизу, — вездѣ онъ

видитъ неустанное мельканіе. Въ одномъ мѣстѣ крупныя колеса вращаются съ солидной медленностью, въ другомъ — маленькія шестерни вертятся какъ-бы въ попыхахъ, съ неистовой энергіей и страстнымъ визгомъ, въ третьемъ — поднимаются и опускаются тяжелые рычаги, точно мускулистыя руки великана. Зритель огушенъ и отуманенъ сутолокой и гомономъ окружающаго, и долго не можетъ ориентироваться, не можетъ уяснить себѣ, гдѣ источникъ силы, приводящей все это въ движеніе? Только послѣ долгихъ поисковъ, прослѣдивъ внимательно направленіе передаточныхъ ремней, нашъ взоръ находитъ гдѣ-нибудь въ сторонѣ, внизу, могучій локомотивъ, который съ скромною добросовѣстностью напрягаетъ свои усилія и сообщаетъ жизнь всему механизму.

Тоже самое представляетъ собою человѣческое общезжитіе. Здѣсь тотъ-же гомонъ неустаннаго коловращенія, тѣ-же чванныя маховики, визгливыя шестерни и тотъ-же непрерывный размахъ сокращающихся и выпрямляющихся мускуловъ. Но и тутъ хаосъ общей картины только кажущійся, ибо и здѣсь есть двигающіе ремни — моральныя идеи и чувства, нравственныя побужденія и стимулы. Прослѣдивъ ихъ начала, нашъ взглядъ опять соскользаетъ въ укромное, чуждое эффектной обстановки мѣсто, гдѣ помѣщается школа — истинный локомотивъ общественной и политической жизни.

Нѣтъ никакого преувеличенія въ словахъ Лейбница, что «воспитатель держитъ въ своихъ рукахъ будущность міра». Будущее каждаго отдѣльнаго народа и всего человѣчества завоевывается тѣмъ оружіемъ, которое готовится, отчищается и закаляется въ школѣ. Сюда поступаетъ сырой матеріалъ человѣческихъ свойствъ, инстинктовъ и наслѣдственныхъ предрасположеній; выходятъ же отсюда члены общества, граждане государства и дѣятели на всѣхъ поприщахъ человѣческихъ профессій. Подъ взоромъ воспитателя, будущіе «мужи» дѣлають первые шаги своего нравственнаго существованія; на глазахъ наставника, будущіе орлы впервые расширяють свои крылья. Школа — маленькое государство, гдѣ, подъ управленіемъ своего Солона или Ликурга, олицетворяемаго въ образѣ учителя, слагаются первыя основы

жизненныхъ идеаловъ, нравовъ и привычекъ. Впослѣдствіи все это выростетъ и дастъ себя знать, смотря по своему качеству, благороднымъ подъемомъ народнаго уровня или злокачественнымъ, лихорадочнымъ перебоемъ общественнаго пульса. «Всѣ социальна-политическія заботы, — сказалъ Гизо, — всѣ мѣропріятія и жертвы бесполезны, если нѣтъ наставниковъ, достойныхъ благородной миссіи народныхъ воспитателей. Чего стоитъ учитель, того стоитъ и школа. Дурной учитель, какъ и дурной священникъ, есть истинное бѣдствіе для общества». Въ томъ-же смыслѣ высказывается и Руссо въ письмѣ къ аббату М.: «Дѣло воспитателя — самое благородное и высокое, какое только есть на землѣ. Пусть пошлые люди думаютъ объ этомъ, какъ хотятъ, что-же касается меня, то въ моихъ глазахъ воспитатель совершаетъ второй актъ творчества, онъ создаетъ человѣка. Если что нибудь на свѣтѣ заслуживаетъ у людей названіе героическаго и великаго, то это именно успѣхъ усилій воспитателя».

Изъ сказаннаго ясно, что для удержанія священной тяготы воспитательскихъ обязанностей; требуется особенный калибръ способностей и силъ. Если на какихъ-нибудь путяхъ общественнаго и политическаго служенія и приложимъ девизъ: «*wer dibt Amt — dibt auch Verstand*», то на поприщѣ педагогической дѣятельности о немъ не можетъ быть и рѣчи. Мы не говоримъ, будто другія профессіи не требуютъ отъ человѣка личныхъ усилій и дарованій; но большинство отраслей службы и труда отличается опредѣленностью границъ и выработанностью формы. Здѣсь дѣятель попадаетъ въ ясно очерченную, издавна проторенную колею, и ему открывается возможность катиться по этой колѣѣ, сохраняя лишь надлежащее равновѣсіе. Во всякомъ случаѣ, тутъ ожидается и требуется отъ человѣка способность преимущественно одного какого-либо рода, специальность въ одномъ «своемъ дѣлѣ». Воспитательное-же служеніе обществу предполагаетъ универсальность способностей и нравственныхъ качествъ, такъ какъ, въ идеалѣ, чтобы воспитать человѣка, — по замѣчанію знаменитаго автора «Эмиля», — «*il faut être plusqu'un homme soi-même*».

Кромѣ спеціальныхъ знавій, воспитатель долженъ обладать совокупностью высокихъ свойствъ характера. Ему необходимы даръ терпѣнія, ровное настроеніе духа и гармоническое сочетаніе солидности съ оживленностью. Меланхолики, люди угрюмые и мрачные, чуждые благородной жизне-радостности, вполне непригодны къ дѣлу. Воспитатель долженъ быть преисполненъ брезгливости ко многому, что въ свѣтѣ и жизненномъ оборотѣ принято, одобряется или выносятся. Лукавая корысть, замаскированное честолюбіе, двоедушіе, тайное или явное тщеславіе, коварный подвохъ, льстивость и ложь, не должны быть и близко допускаемы къ школьному міру; метла государства обязана беспощадно отметать отсюда весь подобный соръ. Воспитателю необходимо очистить себя отъ всякой склонности къ ироніи, насмѣшливости, непослѣдовательности и парадоксальности, въ немъ не должно быть и мысли о превознесеніи себя въ ущербъ достоинству или законному самолюбію воспитанника. Напротивъ, въ наставникѣ обязательна вообще рѣдкая способность сознаваться въ своихъ слабостяхъ, ибо эта способность есть единственный источникъ возможности совершенствованія. Въ наставникѣ естественно требовать много снисходительности, при полномъ отсутствіи малодушія, непоколебимую твердость и отеческую мягкость, чуждую всего нервнаго раздражительнаго и грубаго. Воспитатель долженъ обладать неистощимымъ запасомъ возвышенной простоты, онъ долженъ постоянно горѣть желаніемъ приблизиться къ дѣтской и юношеской природѣ, жить немного ея жизнью, входить въ ея тонъ, понимать и любить ее, выносить ея временные недостатки. Дѣло воспитателя есть гораздо болѣе вопросъ искренняго желанія, чѣмъ спеціальнаго знавія. Только доброе сердце можетъ изливать животворный источникъ любви, тогда какъ изъ льда еще никогда не добывалось огня. Любовь сообщаетъ наставнику благія интувціи или спасительныя откровенія въ затруднительныхъ случаяхъ педагогическаго дѣла. Любовь осѣняетъ своими крыльями священный питомникъ юныхъ душъ и характеровъ.

Таковъ сжатый перечень требованій, которыя общество имѣетъ право и даже поставлено въ необходимость предъ-

являть къ лицамъ, такъ или иначе причастнымъ къ области учебно-воспитательныхъ учреждений. Велики и тяжелы эти требованія. Но съ самымъ величіемъ и тяжестью ихъ должна обуславливаться и соотвѣтственная доля уваженія и благодарности общества къ людямъ, берущимъ на себя отвѣтственную тяготу, подобную бремени Атланта.

Нельзя сказать, чтобы цивилизованное человѣчество, на пути своего историческаго развитія, пренебрегало своимъ долгомъ такого уваженія и благодарности. Такъ, напр., какъ-бы ни былъ утопиченъ свѣтило классической Греціи, Платонъ, однако-же онъ выражалъ умонастроеніе и взгляды своего народа и времени, когда полагалъ «сословіе воспитателей народа» въ край угла идеальнаго государства. Не меньшій ореолъ почтенія къ ученымъ людямъ встрѣчаемъ и въ средніе вѣка, когда къ кафедрамъ наставниковъ стекались массы учениковъ изъ разныхъ, часто весьма отдаленныхъ странъ. Описывая, напр., удаленіе Абелара изъ Парижа на берегъ Ардюссона, Ремюза говоритъ: «города и замки опустѣли ради этой Оиванды науки; стекающіеся отовсюду ученики сами строили для себя шалаши по берегу рѣчки, чтобы только быть поближе къ уважаемому и любимому наставнику». Нерѣдко цѣлый городъ гордился славою своего согражданина — ученой или педагогической знаменитости. Толпа останавливалась передъ нимъ съ почтеніемъ на улицахъ; чтобы видѣть его, горожане выбѣгали изъ домовъ, а женщины поднимали зававѣски своихъ оконъ, желая взглянуть хотя мелькомъ на предметъ общей гордости... Мы не будемъ уже упоминать о той недосыгаемой выси, на которую было вознесено наименованіе: учитель, когда оно слышалось изъ святыхъ устъ апостольскихъ мужей.

Нужно было родиться и возрасти новымъ общественнымъ силамъ и лозунгамъ, чтобы правильная точка зрѣнія отодвинулась въ сторону. Нужно было развиться могуществу денегъ, нужно было укорениться вѣрѣ въ юридико-политическія учрежденія, которыя будто-бы могутъ «сдѣлать не нужною совѣсть», необходимо было вырасти пресмыкающемуся преклоненію предъ соціально-іерархическими «мѣстами», ко-

торыя будто-бы «красятъ челоуѣка», нужно было распространиться удушливой атмосферѣй цѣлой тучи сентенцій о томъ, что «сила выше права», что «прогрессъ не создается моральными преуспѣянiями», что міръ стоитъ на принципѣ «борьбы за существованіе» и т. д., — необходимо было все это, чтобы дѣятели школы, науки и воспитанія остались внѣ общественнаго вниманія и уваженія. Но истина, хотя и забываемая, все-же истина. Къ какому-бы вѣку ни принадлежало общество, къ XIX-му, къ XX-му, или къ XXX-му, все-таки оно, если не умѣетъ цѣнить свою школу, уподобляется дикому племени, которое не прочь попользоваться плодами дерева, подрубая его корни. Вспомнимъ еще разъ Руссо, который замѣчаетъ въ своемъ знаменитомъ Разсужденіи: «По предразсудку, избобрѣтенному гордостью, вести людей труднѣе, чѣмъ просвѣщать ихъ, и легче заставлять людей поступать хорошо по ихъ собственной волѣ, чѣмъ принуждать ихъ къ тому силою. На самомъ-же дѣлѣ, истинно великіе результаты могутъ произойти лишь изъ солидарности просвѣщенія и власти, трудящихся вмѣстѣ для блага людей. Пока сила будетъ на одной сторонѣ, а мораль и знаніе на другой, духовная продуктивность страны рѣдко дастъ обильные плоды, государства еще рѣже совершать великія дѣла, а народы будутъ оставаться униженными, порочными и несчастными». Вполнѣ аналогичны съ этими идеями мысли извѣстнаго педагога Дистервега: «Кто желаетъ, чтобы народъ былъ воспитываемъ успѣшно, тотъ долженъ признать первымъ условіемъ для этого такое положеніе воспитателей, которое-бы соотвѣтствовало важности ихъ обязанностей. Хотите-ли вы позаботиться о своихъ дѣтяхъ, позаботьтесь прежде объ ихъ учителяхъ. Въ чемъ вы откажете послѣднимъ, откажете первымъ. Кто лишаетъ учителя увѣренности, что его занятіе имѣетъ большую важность для общества, что оно достойно глубокаго почтенія, тотъ подрѣзываетъ корни народнаго образованія и народной культуры. А потому о людяхъ, презрительно взирающихъ на учителя, съ высоты своего призрачнаго величія, можно сказать, что ихъ надменность глупа, груба и дика, и что эти пошляки презираютъ свое отечество».

Въ отвѣтъ на вытекающее изъ приведенныхъ соображеній указаніе необходимости поднять высоко, — гораздо выше, чѣмъ есть, — общественно-государственное значеніе дѣятелей просвѣщенія, намъ могутъ замѣтить: «Все это вѣрно, но... въ наличномъ составѣ этихъ дѣятелей бываютъ и печальныя явленія, такъ что уваженіе и почетъ въ данномъ случаѣ могутъ оказаться какъ-бы не логичными». Мы не станемъ спорить противъ такого обвиненія, но скажемъ, что въ глухихъ углахъ, куда рѣдко проникаетъ солнечный лучъ и посторонній взоръ, весьма естественно накопленіе сора. Серьезный и искренній спросъ непременно вызоветъ серьезное и искреннее предложеніе. Само собою разумѣется, что высокое положеніе общественнаго служенія никогда не должно быть безответственнымъ даромъ. Чѣмъ выше стоитъ дѣятель, тѣмъ строже должно быть устремляемо на него общее критическое вниманіе. Необходимо, чтобы школа, поставленная на вершину открытаго холма, была доступна сильному току гласности и общественно-государственнаго контроля. Здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, нѣтъ мѣста организованной лжи и тайнѣ, которая задушаетъ малѣйшее слово, приподнимающее хотя-бы край завѣсы, малѣйшій намекъ, способный коснуться чего-нибудь «щекотливаго». Подобная система обмана, оберегающая заразные язвы, какъ нѣчто драгоценное, да будетъ далека отъ учебно-воспитательнаго дѣла. Пусть общество оставитъ фальшивые кумиры, пусть оно преклонитъ искренно колѣни предъ алтаремъ просвѣщенія, и оно получитъ тогда достойныхъ служителей своего искренняго культа.

Еще могутъ поставить намъ на видъ, что «общественное уваженіе» обыкновенно стоитъ денегъ, вызываетъ болѣе или менѣе крупныя матеріальныя затраты. Мы не будемъ входить въ детали этой хозяйственной точки зрѣнія, но напомнимъ еще разъ, что расходы на просвѣщеніе составляютъ одно изъ выгоднѣйшихъ помѣщеній общественныхъ средствъ. Тутъ именно проценты возвращаются сторицей. Государству необходимы, конечно, армія, флотъ, судъ, администрація и пр., но нельзя не видѣть, что всѣ эти важныя учрежденія стоятъ какъ-бы съ наружной стороны общежитія, отражая внѣшнія

проявленія зла, и только воспитаніе идетъ въ глубину народной жизни, къ первоосновамъ и корнямъ ея. Его работа носитъ на себѣ не хирургическій, а гигиенический характеръ, она не ограничивается отрицательными дѣлами сдерживанія и отсѣченія недозволеннаго, но она одушевлена положительными задачами созиданія и водворенія въ странѣ идеаловъ должнаго. Въ сущности, качество всѣхъ родовъ государственнаго служенія находится въ зависимости отъ школы. Слово, внушеніе и примѣръ наставника отпечатлѣваются и расходятся по всей территоріи отечества въ сотняхъ отпечатковъ, принося такіе или иные плоды на судебныхъ трибунахъ, въ административныхъ канцеляріяхъ и на поляхъ сраженій. Школа — сердце страны.